БИБЛИОТЕКА ПЕДАГОГА

А. М. ПЕШКОВСКИЙ

СБОРНИК СТАТЕЙ

МЕТОДИКА РОДНОГО ЯЗЫКА,
ЛИНГВИСТИКА,
СТИЛИСТИКА,
ПОЭТИКА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ЛЕНИНГРАД—1925

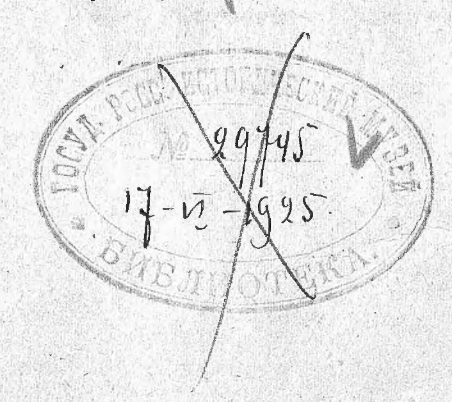
А. М. ПЕШКОВСКИЙ

СБОРНИК СТАТЕЙ

МЕТОДИКА РОДНОГО ЯЗЫКА,
ЛИНГВИСТИКА,
СТИЛИСТИКА,
ПОЭТИКА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ЛЕНИНГРАД — МОСКВА
1925





Гиз. № 10590. 10.000 экз. Ленинградский Гублит № 20800.

ПРЕДИСЛОВИЕ.

Статьи, печатаемые ниже, появлялись, в большинстве своем, в педагогических журналах, начиная с 1914 года. Так как иные из этих журналов распроданы, а иные вообще имели очень малое распространение, мне казалось небесполезным объединить эти статьи в одной книге. Впрочем, две из помещенных здесь статей («Глагольность как выразительное средство» и «10.000 звуков») еще нигде не печатались, а две другие («В чем же, наконец, сущность формальной грамматики?» и «Понятие отдельного слова») печатались в неполном виде (из первой только 1-я глава). Все статьи для настоящего издания вновь проредактированы.

Статья «Синтаксис в школе» во многом перестала уже теперь отражать синтаксические взгляды автора. Но, являясь своего рода педагогическим комментарием к «Русскому синтаксису в научном освещении», она сможет быть переработана только после намеченной ныне переработки самого «Русского синтаксиса».

Автор.

13 декабря 1924 г.
Москва.

В чем же, наконец, сущность формальной грамматики?

Постановка... вопроса... свидетельствует о том, что в данной области совершается какое-то злое и глубокое недоразумение. (Рец. проф. *Л. Булаховского.*) «Путь Просвещения», 1923, № 3.

I.

В последнее время со страниц нашей педагогической печати не сходит вопрос о сущности так называемого «формального» направления в преподавании грамматики и, в частности, о том, совместимо ли с ним изучение смысловой стороны речи. Одни авторы полагают, что сущность «формальной» грамматики (отождествляемой ими в этом понимании с грамматикой научной) заключается в изгнании смысловой стороны из грамматической системы языка, и требуют, чтобы это изгнание было проведено фанатически-последовательно [1]). Изучение смысловой стороны они допускают лишь вне рамок системы, т.-е., в сущности, вне рамок самой грамматики. Другие считают «*педагогически целесообразным* (курсив мой. *А. П.*) в классификацию слов речи по формальному признаку привносить всякий раз также и элемент значения» [2]). Третьи, наконец, справедливо усматривая главную задачу грамматики, и как науки, и как учебного предмета, в изучении как раз *внутренней* стороны

[1]) См. «Родной язык в школе» 1919—1922, кн. 1-я (2), П а в л о в и ч А. И. Между Сциллой и Харибдой. Там же 1923, кн. 3-я, А б а к у м о в, С. И. Этюды по формальной грамматике. В первой из этих статей мне приписывается печальный почин в деле «блуждания в неуверенной ладье между Сциллой формы и Харибдой логоса», и хотя за мной признается по сравнению с другими авторами «гениальное уменье сочетать и семасиологический и формальный моменты», но общий тон оценки напоминает стих Крылова: «Что сходит с рук ворам, за то воришек бьют».

[2]) Проф. Н. С. Д е р ж а в и н. Основы методики русского языка и литературы в трудовой школе, часть II, преподавание грамматики. Москва—Петроград, 1923.

речи, ее *значений*, и считая невозможным вскрыть даже и самые формы без анализа их значений, объявляют формальное направление ненаучным: «С научной точки зрения, формальное направление не выдерживает критики» [1]). Все эти рассуждения, при всей их подчас противоположности и по тенденциям, и по выводам, сходны между собой в 2-х признаках: 1) во всех них «форма» противополагается «значению», 2) во всех них понятие «значения» слóва берется огульно, без расчленения на различные элементы этого значения (или, во всяком случае, с недостаточно отчетливым расчленением). Те же две черты мы находим и в московской программе 1921 года. Хотя грамматическая часть ее составлена М. Н. Петерсоном и Д. Н. Ушаковым, из которых первый в своем «Очерке» [2]) прямо говорит: «В форме необходимо различать два элемента: звуковой, или вообще внешний, и внутренний (значение)», а второй в своем «Кратком введении» «настойчиво» и «с замечательно яркими иллюстрациями» [3]) проводит ту же мысль о нерасторжимости звуков и значений, образующих формы слов, однако в самой программе мы читаем (в рубрике 4-го года обучения): «Продолжение грамматических наблюдений 3-го года с *прибавлением* наблюдений над значением слов». А в объяснительной записке среди целей изучения грамматики находим: «понимание различия между *формальной стороной* слов и их *значениями*». И далее: «Кроме звуков, *форм* слов, отношений слов друг к другу и предложений друг к другу, есть еще очень важная сторона в языке, которую программа предлагает наблюдать: это — сторона *значений* слов» (курсив везде мой. *А. П.*).

Мне кажется, что такое сбивчивое употребление слов «форма» и «значение», хотя, конечно, и не всегда отражает на себе сбивчивость мысли пишущих, однако всегда производит полную путаницу в умах читающих. И то отклонение от первоначального понимания сущности формального направления, которое наблюдается в последнее время и у друзей, и у врагов его, обязано своим происхождением именно этому сбивчивому словоупотреблению.

Хотя по вопросу о взаимоотношении формы и мысли в языке в литературе уже имеется прекрасная статья Н. Н. Дурново [4]), кратко и ясно выявляющая всю сущность дела, мне кажется небесполезным еще раз остановиться на этой теме

---

[1]) «Родной язык в школе», 1919—1923, кн. 1-я (2), «Петроградский съезд преподавателей родного языка и литературы», тезисы доклада Л. В. Щербы. Формальное направление грамматики. См. также рец. Л. Булаховского, цитируемую в эпиграфе.

[2]) М. Н. Петерсон. Очерк синтаксиса русского языка. М. 1923.

[3]) Оценка Н. Н. Дурново в статье Что такое синтаксис? «Родной язык в школе», 1923, кн. 4.

[4]) «Родной язык в школе», 1923, кн. 3-я. В защиту логичности формальной грамматики.

с целью углубить и конкретизировать разделяемые мною основные положения этого автора.

Все мы привыкли видеть в слове такую основную единицу речи, в которой нерасторжимо слиты звуковая и значащая стороны ее. «Слово есть звук или комплекс звуков, имеющий значение отдельно от других звуков и их комплексов, являющихся словами»,—учил Ф. Ф. Фортунатов. Но если звуковую сторону слова, несмотря на весь химизм сцепления отдельных звуков между собой, мы легко представляем себе дробящейся на отдельные звуки, слоги, а при случае и грамматические части (корень, префиксы, суффиксы, инфиксы), то расщепление *значения* слова на части представить себе довольно трудно. Здесь нет ни пространственного разделения на части, как в материальном мире, ни временнóго, как в протекающих перед нами процессах этого материального мира (в том числе и в процессах *звучания* и *произнесения* слов). Разве можно тут что-либо измерять, разве может тут быть «больше» и «меньше»? А там, где нет «больше» и «меньше», разве могут быть «части» и «целое»? Именно этой трудностью перенесения данных внешнего опыта на опыт внутренний и объясняется вся путаница в вопросе о «форме» и «значении». А между тем эта трудность *должна быть* преодолена при первом же подходе к грамматике. Грамматика начинается только там, где не только звуки, но и *значение* слова признается *нецельным*, *разложенным*, *расщепленным* на отдельные элементы, которые по аналогии с материальным миром и с соответствующими звуковыми отрезками слова приходится называть «*частями* значения слова».

Что «части» эти реально существуют в нашей мысли, хотя и в подсознательной ее стороне, доказывается следующими фактами:

1) Во всех языках, имеющих формы слов, всегда и везде непрерывно происходит процесс образования новых слов путем комбинирования элементов прежних слов. Комбинировать же те или иные элементы мы можем, только имея их в своей психике именно, как *элементы*, т. е. в их раздельности. Если мы говорим «использóвывать», «осовременнивание» и т. д., то мы, очевидно, отвлекли от существующих слов части «использ-», «óвыва-», «о-», «-современн-», «-ивание» и т. д. Что части эти отвлекаются всякий раз с их особым, только им одним принадлежащим значением, ясно из того, что, например, «использóвываю» мы говорим тогда, когда нам хочется выразить *настоящее* время или *многократность*, и нам не годится значение *будущего* времени и *однократности*, заключенное в слове «использую» и т. д.

2) Так же непрерывно происходит в языке образование новых форм слов по образцу прежних: местов, делов, офицерá, договорá, площадя́ и т. д. И это образование тоже никогда не

происходит *бессмысленно*, т.-е. человек не может вместо «мест» образовать «месты» (другой падеж!), или «местая», «местое» (другая часть речи!), а только «местов» по аналогии с «столов», «домов» и т. д. Если же один падеж и становится иногда на место другого в том же порядке аналогии, то на это всегда есть свои *смысловые* причины. Точно так же тот, кто, впервые услышав слово «кенгуру», образовал к нему «кенгура», «кенгуры» и т. д., очевидно, *понял* это *у*, как признак винительного пад. ед. ч., *осмыслил* его в фразе с прямым дополнением (напр.: «я купил кенгуру») и затем, по требованию *смысла*, стал переделывать это окончание на окончания других падежей. Ясно, что в его уме существовали эти частички *у, а, ы* и т. д., со *значениями* винительного, именительного, родительного и т. д.

3) При дефектах речи и обмолвках мы часто путаем не только звуки и слоги (какие-нибудь «мело маста» вместо «мало места», «босака» вместо «собака» и т. д.), но и грамматические части. Всем известны анекдоты о рассеянных профессорах, говорящих: «понедельница», «пятник» и т. д. Мне самому случилось раз в состоянии усталости задать ребенку вопрос: «Как у нас зимой, день длиннее ночи, или ночь длиннее *дени?*» Ничто так ярко не выявляет психологической отдельности грамматических элементов слов[1]), как именно это их *перепутывание*. И опять-таки даже и это перепутывание происходит всегда *осмысленно*: мы никогда не перепутываем таких грамматических частей, которые бы не имели ничего общего между собой по значению. Так, например, обмолвка «ночь длиннее *денью*» была бы невозможна.

Что всякое такое дробление слова есть дробление *смысловое*, ясно и из того, что с чисто-фонетическим делением на слоги, оно на каждом шагу перекрещивается: «глу-би-на» и «глуб-ин-а», «по-дра-зу-ме-вать» и «под-разум-е-ва-ть» и т. д.

Наконец, весьма поучительно для решения этого вопроса сравнение *однозвучных* по окончанию, но не *одноформенных* слов. Сравнивая такие ряды, как: «вода», «земля», «города», «края», «беря», «неся» или: «читай», «валяй», «каравай», «май», мы ясно ощущаем *неоднородность* заключенных в них слов, и притом неоднородность *грамматическую*, т.-е. нас поражает не разница, положим, между чтением и караваем самим по себе, а *какая-то другая*. Эта другая разница может, очевидно, относиться только к *окончанию ай*, которое здесь внутренно различно, т.-е. имеет различные *значения*.

Итак, слово, в огромном большинстве языков и в огромном большинстве случаев, *по значению не едино*. Это — кон-

---

[1]) Кстати сказать, и чисто-фонетических элементов, как видно из предыдущих примеров. Только для простоты я здесь и в дальнейшем говорю о «звуках», а не о представлениях звуков (фонемах).

гломерат многих, и даже разнородных, как увидим ниже, значений. Но конгломерат этот — интегрально-дифференциальный. Это не простое множество, не простая сумма слагаемых, а *множество* в *единстве* или, вернее, *единство* во *множестве*. Все грамматические части слова связаны между собой и по звукам и по значению теснейшим образом. Недаром так трудно представить себе значение слова разорванным на части. И с известной точки зрения, тоже совершенно научной (так называемой «лексической», а не «грамматической»), мы в праве говорить о *едином* значении слова.

Таким образом, слово оказывается единством как бы на два фронта, или в двух направлениях: 1) единством звуков и значения, 2) единством входящих в него грамматических элементов. Оба единства пронизывают друг друга, т.-е. в каждом из грамматических элементов сохраняется основное единство звука и значения. Можно условиться представлять себе графически первое единство в вертикальном направлении:

звуки
значение

а второе в горизонтальном:

грамм. элем. *а*	грамм. элем. *б*	грамм. элем. *в*...

Тогда *всё* единство, вместе взятое, представится, как:

звуков. элем. *а*	звуков. элем. *б*	звуков. элем. *в*...
значение *а*	значение *б*	значение *в*...

Остановимся подробнее на *горизонтальных* связях этой схемы, не упуская, конечно, ни на мгновенье из виду и вертикальных связей, потому что и обнаружить-то горизонтальные ряды можно только по соотношению с вертикальными: звуковые элементы по значениям, а значения по звуковым элементам.

Сперва о *верхнем* горизонтальном ряде — о *звуковых* элементах. Схема передает соотношение между ними весьма неточно. Во флективных языках, к которым принадлежит и наш язык, грамматические звуковые элементы не только следуют друг за другом, как рисует эта схема, но и *врастают* друг в друга в таком сложном порядке, что «вынуть» один из другого по большей части нет ни малейшей возможности. Возьмем слово «вада» (орфографическое «вода»). На первый взгляд кажется, что оно легко дробится на грамматические элементы *вад-* и *-а*. Но на самом деле это не так просто. Сравнивая слова: «вад’э», «вóду», «вот» (род. мн.), «вóднәй», «вәдавоз»,

«в’эдиной», «вэдинистэй» (орфографически «воде», «вод», «водный», «водовоз», «водяной», «водянистый»), замечаем, что значение прозрачной жидкости без цвета и без запаха, как элемент значения целого слова, *одинаково* свойственно *всем* им. Следовательно, значение это может быть связано только с теми звуковыми элементами, которые есть во *всех* этих словах, т.-е. не с «вóд-», не с «вóт-», не с «вад-», не с «вад’-», не с «вэд-» и не с «вэд’-» в отдельности, а с неким *эксцерптом* из всех этих элементов, с неким как бы алгебраическим «корнем», извлеченным из них, чтó схематически можно представить так:

в + (*ó* или *а* или *э*) + (*д* или *д’* или *т*).

Это и будет *первый* звуковой грамматический элемент слова «вада» (как и всех остальных этих слов). Соответственно и те элементы значения, которые связаны со вторым элементом его (*-á*), войдут в связь уже не с одним этим *-á*, а со *всем тем, что останется в слове после «извлечения корня»*, чтó можно представить так:

á + раскрытие скобок 1-го элемента в пользу *а* и *д*.

Это и будет второй элемент слова. Подобным же образом слово «висна», по соотношению со словами: «в’óсну», «в’эшн’эй», «вис’эн’н’эй», разложится на следующие 2 элемента:

1) *в’* + (*и* или *о* или *э*) + (*с* или *с’* или *ш*) + (отсутствие звука или *э*) + (*н* или *н’*).

2) *á* + раскрытие скобок 1-го элемента в пользу *и*, *с*, отсутствия вставного звука и *н*.

Мы видим, что в каждом из этих слов их 2 элемента *пронизывают* друг друга на всем протяжении слова, и говорить о «распадении» слова на «части» можно, в сущности, только весьма условно. Особенно ярко сказывается эта слитность на таких фактах, как «воде», «весне», где расщепление происходит как бы *внутри отдельных звуков*: само по себе *д* в слове «воде» принадлежит 1-й части, но *мягкость* его относится уже к примете дательного падежа, т.-е. ко 2-й части.

Если мы возьмем слово, состоящее из 3-х и более грамматических элементов, то там все элементы окажутся настолько же спаянными между собой. Так, в слове «вадúца» часть «вад-» обязана своим *а ударности* суффикса *-иц-* (иначе было бы «вóдица» или «вэдицá»), а сам суффикс *-иц-* обязан своим *ц* флексии *-а*, потому что тот же суффикс в словах мужского рода *всегда* звучит, как *-ик-* (ученик — ученица, старик — стáрица и т. д.).

Заметим себе заранее всю сложность этой группировки, чтобы понять, почему наука часто не называет грамматических

элементов слова «частями», а предпочитает более трудный термин (которым в дальнейшем буду пользоваться и я): «*принадлежности*». Все, что «*принадлежит*» в звуках слова какому-нибудь *одному* элементу *значения* (или какой-нибудь *одной* группе их, см. ниже), будет грамматической *принадлежностью* слова. Так, в слове «вода» две «принадлежности», в слове «водица» — три, и т. д.

Теперь обратимся к *нижнему* горизонтальному ряду основной схемы, к элементам *значения* слова. Здесь мы найдем не меньшую спаянность. Прежде всего мы видим, что целый ряд значений, порой даже совершенно разнородных, может сливаться в *одном* звуковом элементе. Так, в слове «вода» в его конечном *а* (в соединении с ударностью и с соответствующей модификацией предыдущего элемента) слиты следующие главные значения: 1) общей предметности (которую надо отличать от специфической предметности самого представления о прозрачной жидкости без цвета и запаха, ибо то же представление могло бы попасть и в *не*предметную категорию: водяной, водянистый и т. д., а, с другой стороны, общая предметность может облекать собой и непредметные представления: дума, воля, тоска, время и т. д.); 2) единичности (единственное число); 3) безотносительности к другим предметам речи-мысли (имен. падеж; значение это чисто-отрицательное, но в виду того, что *все* другие формы всегда означают какое-либо отношение к другим словам и предложениям, эта форма получает свое специальное значение безотносительности); 4) какой-то символической связи с существами женского пола (женский род). Здесь мы имеем известную *непараллельность* звуковых и значащих элементов слова (на 1 звуковой — 4 значащих), объясняющуюся тем, что значения создаются всегда целыми рядами однородных в каком-либо отношении слов: значение падежа создается здесь рядом: «вода — стол — окно — путь» по сравнению с рядами: «воды — стола—окна—пути», «воде—столу—окну—пути» и т. д., значение числа создается рядом «вода—стол—окно—путь» по сравнению с рядом «вóды—столы—óкна—пути», значение предметности — всеми этими рядами по сравнению с рядами «водный», «водянистый», «белый», «красный»; «белого», «красного» и т. д.[1]). Но этого рода спаянность в сущности чисто внешняя, так как спаянные элементы могут быть и совершенно разнородны (таковыми являются здесь, например, значения падежа, числа и рода). Для нас важнее здесь факты *внутреннего* сцепления отдельных элементов значения слова. Возьмем слова «умнею», «глупею», «бледнею», «зверею», «совею» и т. д. В них мы имеем живой суффикс *-эй-* (орфогр. *е* перед гласной буквой),

---

[1]) Другой важный случай непараллельности звуков и значений, это — так называемая отрицательная форма. См. мой Русский синтаксис, 2 стр.

с помощью которого можно всегда образовывать новые слова. Можно при случае всегда сказать «большевею», «меньшевею», «оранжевею», «пурпуровею», «фиолетовею» (может быть, эти слова и фактически встречались уже в литературе, — я этого не знаю, но это и не важно в данном случае). Можно даже (в редких случаях) сказать «столею», «стаканею» в смысле: делаюсь столом, стаканом. Но *совершенно* невозможно сказать: «ходею», «бежею», «сидею», «стоею», «лежею». Почему это? Вдумываясь в значение принадлежности *-эй-*, находим, что она обозначает приобретение того *качества* или превращение в тот *предмет*, которые выражены в предыдущей принадлежности (иногда и просто проявление качества, например, «на горах белеют снега»). Ясно, что если в предыдущей принадлежности выражены *не качество* и *не предмет*, то принадлежности *-эй-* здесь делать нечего. Таким образом, здесь самая сущность значения одного элемента такова, что может сочетаться только с определенным значением предшествующего элемента. Или возьмем, например, различные суффиксы уменьщительности (*ик, иц, чик, очек, ок* и др.). По самому значению своему они больше подходят к конкретным значениям предыдущих элементов, чем к отвлеченным. Такие образования, как «убежденьице», «самолюбьице», «идеальчик», «любовишка» реже в языке, чем такие, как «платьице», «стульчик», «пальтишко». От многих отвлеченных существительных совсем не употребляются уменьшительные (например, разум, воля, чувство, вера, радость, печаль, весна, осень, лето, тепло, стужа, все существительные с суффиксами, *-изна, -ость*), тогда как от конкретных существительных их почти всегда можно образовать. Причина понятна; предмет легче представить себе уменьшенным, чем признак или явление, особенно, если это явление психическое. Подобным же образом флексии дательного падежа существительного, хотя потенциально присущи, конечно, каждому существительному, но *фактически* гораздо чаще употребляются от существительных, означающих людей и животных, чем от всех остальных. Если мы вспомним глаголы, управляющие дательным падежом (давать, помогать, вредить, льстить, мстить, подражать, потворствовать, молиться, клясться, обещать, нравиться, надоедать, опротиветь, угождать и др.), то увидим, что для всех их наиболее подходящими объектами (а для некоторых даже единственно подходящими) являются так называемые «одушевленные» предметы (сочетания с предлогом «к» оставляю здесь в стороне). Напротив, значение *орудия*, заключенное, между прочим, во флексии творительного падежа, больше подходит к неодушевленным предметам. Возьмем еще слова: «желток», «белок». Первая принадлежность этих слов означает определенный цвет, вторая означает «предмет, обладающий этим цветом», третья (здесь по звукам отсутствующая, так называемая, «отрицательная»)— общую предметность, единичность и т. д. Но где же та принад-

лежность, которая обозначает «желтое (или белое) вещество *яйца*»? Что у суффикса *ок* не может быть такого специфически-«яичного» смысла, ясно из того, что смысл всякого суффикса общий, а это значение является только в этих двух словах русского языка. В принадлежностях «желт-», «бел-» тоже никакого указания на яйцо нет. Очевидно, этот смысл создается только *индивидуальным соединением* именно *этих 2-х* принадлежностей и не относится ни к одной из них в отдельности. Подобным же образом «синяк» обозначает не просто что-то синее и даже не синий предмет, а синее пятно на коже, вызванное приливом венозной крови, «краснуха» не просто красный предмет и даже не просто красную сыпь, а определенную *болезнь*, «варенуха» не просто вареную пищу, а определенное *кушанье* и т. д., при чем элементов этой специализации мы не найдем ни в одной из принадлежностей слова, а только в их соединении. Даже в нашем первоначальном примере — «вода»,— которого я здесь избегал в виду его малой характерности в данном пункте, можно найти признаки спаянности значений. Так, значение *лечебной минеральной воды*, присущее между прочим первой принадлежности этого слова, охотнее соединяется со значением *множественного* числа во второй принадлежности, чем единственного; «он пьет вóды», означает всегда и везде лечебную воду, тогда как фраза, «он пьет воду» только в подобающей обстановке может быть понята в этом смысле (хотя при прибавлении подходящего прилагательного: «он пьет Киссингенскую воду» смысл делается уже и в единственном числе непременно специальным, так что никто не подумает, что дело идет о простой воде из Киссингенского водопровода). Наоборот, тот увеличительно собирательный оттенок, который мы находим в значении множественного числа, в сочетании «воды Северного океана» тесно связан с вещественным характером значения первой принадлежности слова. Если же мы возьмем производное слово «водяной», то здесь спаянность выступит в одном из значений всего слова в полном блеске: значение водяного *демона* является только при комбинации всех 3-х принадлежностей этого слова, не принадлежа ни одной из них в отдельности.

Таким образом, относительно значений отдельных принадлежностей в слове мы можем сделать пока два вывода:

1) значения эти всегда находятся в теснейшем взаимодействии;

2) в некоторых случаях в общем значении слова есть такие элементы, которых нет ни в одной из его принадлежностей.

Теперь мы должны перейти к вопросу о принципиальной *разнородности* значений отдельных принадлежностей в слове, вопросу чрезвычайно трудному, но зато обещающему привести нас в своем решении к точному определению задач грамматики.

Сравнивая значение 1-й принадлежности слова «вода» (прозрачная жидкость без цвета и запаха) со значениями 2-й принадлежности (предметность, единичность, безотносительность и др.), находим между первым и вторыми резкую разницу. Первое гораздо *конкретнее*, *уже*, *специфичнее*, вторые — *отвлеченнее*, *шире*, *общее*. Это соответствует и внешнему факту распространенности той и другой принадлежности в языке. Принадлежность «вод-» (с ее разновидностями) имеется в десятке, много двух десятках русских слов, принадлежность «а» в *тысячах* слов. Следя за модификациями значений или за так называемыми «частными» или «производными» значениями (а на такую модификацию способно *всякое* значение языка, потому что оно по самой природе своей есть нечто подвижное, изменчивое), находим, что первое значение при всех своих видоизменениях сохраняет свои черты, вторые значения — свои. Так, значение «прозрачной жидкости без цвета и запаха» может модифицироваться в значения: 1) больших масс этой жидкости, покрывающих сушу («корабль держался на воде», «водное пространство», «вода и суша»); 2) лечебной минеральной воды (см. выше); 3) всей той местности, в которой находятся лечебные минеральные источники («он провел месяц на водах»); 4) жидкости, скопляющейся в теле при водянке («больному пустили воду»); 5) прозрачности кристалла («бриллиант чистой воды»); 6) бессодержательности («в этом произведении много воды»). Значение безотносительности, заключенное во флексии именительного падежа, может тоже модифицироваться в значение: 1) экзистенциальности («Вечер. Сад. Газон. Кусточки [1])»; 2) назывательное (вывески, названия книг); 3) произведения признака (подлежащее); 4) звательное. Значение единичности, заключенное в той же флексии, как флексии числа, *всегда* модифицируется в подобных словах, в связи с вещественностью специального их значения; оно превращается или в значение небольшого количества («вода в луже», нельзя сказать «воды в луже»), или в значение безразличия по отношению к количеству («вода потока холодна», «воды потока холодны», первое выражение означает воду в любом количестве, хотя бы ведро или стакан, почерпнутые из потока, второе — значительное количество воды сообразно размерам самого потока), или в значение отдельного *сорта* воды («прохладительные воды: сельтерская вода, содовая вода» и т. д.). Мы видим, что все модификации конкретного значения сохраняют свою сравнительную конкретность, все модификации абстрактных значений — свою абстрактность. Далеее, ассоциации, в которые вступает слово «вода» по этим 2-м своим принадлежностям, совершенно различны. Уже не говоря об основных рядах ассоциаций, создающих самое членение (вода, воды, воде и т. д.; вода, спина, гора и т. д.),

---

[1]) Андрей Белый. Золото в лазури.

все ассоциации по первой принадлежности будут так называемые словарные (море, океан, река, поток, ручей, жидкость, прозрачный, чистый, кристальный, зеркальный, мутный, бурный и т. д.), *все* ассоциации по второй принадлежности — грамматические (спина, гора, рука, спины, горы, руки и т. д.) Всё это указывает на глубокое различие в *природе* той и другой принадлежности слова «вода», и всё это приводит нас в конце концов к разделению самой *науки* о языке на 2 ветви: *семасиологию* и *грамматику*. Первая занимается изучением принадлежностей типа «вод-», или так называемых *материальных*, *вещественных*, вторая — принадлежностей типа *-а* (вод*а*), *-иц-* (вод*иц*а), или так называемых *формальных*. Разделение это, к сожалению, еще не окончательно признано в науке. Некоторые ученые понимают грамматику расширенно, включая в неё не только всю фонетику, но и всю семасиологию. При таком понимании грамматика совпадает вообще с языковедением, и кроме нее в языковедении может оказаться разве только отдел о родстве языков и языковая география [1]). Другие ученые, напротив, стремятся выделить из грамматики всё ее внутреннее содержание и отнести все грамматические значения к общему учению о «значениях», к семасиологии. Такие ученые озаглавливают часто свои чисто-грамматические труды совершенно неверными кличками: «К семасиологии родительного падежа», «К семасиологии глагола» и т. д. К какой невероятной путанице это приводит, мы видим как раз на современных школьных спорах, которые несомненно отражают на себе неудовлетворительное состояние разработки некоторых общих вопросов языковедения. Целью настоящей статьи и является: 1) подчеркнуть еще раз необходимость дифференцировать понятие «значения слова», («значение целого слова», «значение материальной принадлежности», «значения формальных принадлежностей»); 2) обосновать на этой дифференциации и формулировать более точно, чем это до сих пор делалось, различие между семасиологией и грамматикой.

Мы видели, что *все* принадлежности слова всегда вступают между собой в тесное взаимодействие. Спрашивается, где же должно изучаться это взаимодействие, если «слово» поделится между 2-мя науками? Для меня в этом пункте не может быть никаких сомнений. Ясно, что взаимодействиями должна заниматься та наука, которая устанавливает самое *членение* слова, т.-е. *грамматика*. Таким образом, и материальная принадлежность слова *по ее соотношению с формальными* должна входить в грамматику, и необходимо соответственно расширить традиционное определение этой науки: грамматика (пока, в этой главе, поскольку речь шла только о слове, а не о словосоче-

---

[1]) Образчиком такого понимания является известная книга R i e s'a «Was ist die Syntax?».

тании, имеется в виду только морфология, но определение синтаксиса будет вполне аналогично) изучает *формальные принадлежности слов и их взаимоотношения между собой и с материальными принадлежностями.*

С другой стороны, мы видели, что значение целого слова сплошь и рядом заключает в себе такие элементы, которые нельзя приурочить ни к одной из его принадлежностей. Где же они должны изучаться? Само собою разумеется, в той науке, которая вообще не заведует членением слова, которая берет от грамматики в готовом виде материальную принадлежность и изучает ее безотносительно к другим принадлежностям — в *семасиологии.* Кроме того, необходимо учесть присутствие в языках большого количества бесформенных полных слов (частичные слова все войдут в синтаксис, см. 2-ю часть статьи), значения которых вообще не могут попасть в грамматику. В результате задачи семасиологии определятся так: она изучает *значения материальных принадлежностей слов безотносительно к их формальным принадлежностям и значения целых слов, поскольку в них не различаются материальный и формальный элементы.*

Таким образом, взяв для примера слово «водяной» и представив его схематически [1]):

в ә д	и н	ѝ й.
1) прозрачная жидкость без цвета и запаха. 2) значительные массы этой жидкости, покрывающие землю и т. д. (всего 7 знач., см. выше).	1) состоит из ... 2) принадлежит к. . 3) относится к...	признак, относящийся к единичному, независимому и состоящему в символической связи с мужским полом предмету.

дух, живущий по народному поверью в водах рек, озер и т. д.

можем сказать, что семасиология занимает ту часть схемы, которая отграничена двойной чертой, а грамматика — всю остальную поверхность схемы.

Эти определения нуждаются в нескольких примечаниях:

1) В отличие от Фортунатова я намеренно говорю не о «формах слов», а о «формальных принадлежностях» их. И это потому, что я исхожу из Фортунатовского определения формы слова, как «*способности*» его распадаться в сознании определенным образом. Мне кажется, что, определив форму, как

---

[1]) Звуковые элементы за неимением места представлены упрощенно.

«способность» слова, нельзя далее определять грамматику, как науку о формах, так как такое учение о «способностях» слов было бы или слишком обще (наука об общих причинах, создающих формы, что ли) или, если сюда включаются и все результаты проявления этих способностей, обнимало бы собой и изучение материальных значений (как одного из результатов распада слова). Я думаю, что в определении грамматики Фортунатов сдвигал понятие формы несколько в другую сторону, конкретизировал его, приближая к понятию «слова, имеющего форму». Вообще надо заметить, что понимание формы как «способности» при конкретном применении вызывает немало затруднений. Так, в случаях, когда одна и та же формальная принадлежность имеет несколько разнородных значений (см. выше значение флексии *-á* в слове «вода»; этот случай надо отличать от модификаций одного и того же значения, например, родительного принадлежности и родительного разделительного: «дом отца» и «пуд сена»), может возникнуть вопрос: сколько же тут «форм»? С одной стороны, принято говорить о форм*ах* числа, падежа, рода и т. д. С другой стороны, в слове «вода» видят *одну* форму, форму на *-а*, определяя ее как форму именительного падежа единственного числа женского рода. Понимание формы как «способности» не выводит нас из затруднения: мудрено решить, сколько в слове «вода» *способностей* распадаться на материальную и формальную принадлежности. Аналогичное затруднение представляется и при противоположных условиях, когда с одним и тем же формальным значением связано несколько разных звуковых элементов («водой» и «водою», «поздней», «позднее» и «позже»). Вследствие трудности сосредоточивать внимание на значениях и сравнительной легкости звуковых наблюдений, ученые (а тем более педагоги) склонны вести счет формам по звуковым элементам и тем принижать элемент значения. Зародыши такого *сдвига* понятия формы можно найти уже и у самого Фортунатова, и одним из таких зародышей я считаю непригнанность определения грамматики к определению формы. Думаю, что грамматика, как и другие отделы языковедения, не есть наука о «способностях» слов, а есть наука об определенных языковых фактах. Такими фактами являются формальные принадлежности слов в их отношениях друг к другу и к материальным принадлежностям. А факты эти, конечно, суть проявления соответствующей общей *способности* слов, вернее, нашей способности сознавать их.

2) Между семасиологией и грамматикой при таком понимании получается некоторая непараллельность: грамматика изучает и *звуки* и *значения*, семасиология — *только значения*. Но это потому, что формальное членение слова исчерпывает звуковую сторону дела настолько, что семасиологии тут больше делать нечего. В качестве материальных носителей своих значений она берет те *остатки* звуковой массы слов, которые получаются

после вычета всех формальных элементов. В тех же случаях, когда она изучает значения целых слов, ей тоже нет надобности изучать звуки.

3) Самая противоположность материальных и формальных значений, на которой основано всё это деление, может оспариваться. Так, можно указать, что в словах «вещь», «предмет» материальная принадлежность может быть ничуть не более «материальной» по значению, чем принадлежности существительных в их отличиях от прилагательных и глаголов (сравни выражения: «*предмет* разговора», «*предмет* мысли», «время—*вещь* такая, которую с глупцом не стану я терять», и так далее), что в словах «единство» и «множество» материальные принадлежности означают буквально то же, что и формальные в формах единственного и множественного числа, что в слове «два» материальная принадлежность означает то же, что формальная в формах двойственного числа (а в языках, где последние обозначают только *парность*, она даже отвлеченнее формальных), что в словах «величина» (в математическом смысле), «бытие», «субстанция» и т. д. материальные принадлежности по отвлеченности не уступят формальным, что, наконец, в *местоименных* словах наших материальные принадлежности уже совершенно не «материальны», так как обозначают *только* отношение говорящего к предмету речи. Хотя все этого рода факты и представляют из себя несомненное меньшинство в языке и хотя все они, кроме местоимений, неразрывно связаны с конкретными значениями *тех же* слов (сравнивая «предмет», как нечто осязаемое или как любимое существо, предмет страсти, «вещь», как мебель, домашняя вещь и т. д.), однако, различие материального и формального действительно не могло бы быть положено в основу разделения материала науки, если бы между принадлежностями слов не было такого принципиального различия, которое помогало бы в *каждом* отдельном случае отнести факт в ту или иную рубрику. К счастью, такое различие есть, и оно абсолютно, но так как оно само по себе не обусловливает различия в значениях (хотя, несомненно, и связано с ним), то я его до сих пор не касался. Я имею в виду то различие, в силу которого «материальная» принадлежность всегда (и на этот раз уже без исключения) является *основной* принадлежностью слова, а «формальные»—*добавочными, сопутствующими* принадлежностями. Это различие, по существу,—чисто *синтаксическое* (в широком смысле слова). Оно указывает на такую *связь* элементов слова, при которой один из них *подчиняет* в нашем сознании другие, выступает по сравнению с ними на передний план, является главным. Если слово, имеющее форму, приравнять к предложению (а принципиального различия тут нет, так как и слово и предложение суть интегрально-дифференциальные единства, и разница между ними только в степени сложности и способах сложения), то материальную принадлежность

можно назвать подлежащим этого микроскопического предложения. Она определяется всеми другими принадлежностями, а сама не определяет ни одной из них. Потому-то она и *одна* всегда в слове (сложное слово можно приравнять к предложению с 2-мя подлежащими). Нет надобности доказывать, что в слове «водица» элементы *иц* и *а* определяют элемент *вод*, а не наоборот. Перевес последнего над первым так велик, что первые мы *едва замечаем* в слове, и этим-то перевесом и объясняется то всеобщее забвение формальных значений слов, с которого я начал статью. Несомненно, что и самый термин «форма» возник, как образное выражение для того факта сознания, в силу которого в ряде слов *что-то* нам представляется главным, субстанциальным, существенным, а что-то другое — добавочным, акциденциальным, случайным («вода — воды — воде» и т. д. кажутся изменениями части «вод-», а «вода — спина — река» и т. д. не кажутся изменениями части *-а*). Однако, этот образ, в сущности, довольно несовершенен. Он не покрывает сравниваемых понятий. Форма и материал не то же, что акциденция и субстанция, и отношение тут может быть даже и обратным. Отсюда замена термина для «материальной» принадлежности (где сравнение особенно хромает) терминами «*основа*», «*основная* принадлежность». И собственно говоря, второй термин точнее первого. Но тогда пришлось бы выкинуть термин «форма». Я нахожу в высшей степени непоследовательным говорить об «основных» *и* «формальных» принадлежностях. Одно из двух: или «основные и добавочные», или «материальные и формальные». Во внимание к укоренившейся по отношению к термину «форма» традиции, я избрал второе.

II.

Перехожу к словосочетанию. Под словосочетанием буду понимать, вслед за Фортунатовым, сочетание двух или нескольких слов, объединенных и в речи и в мысли. Таким образом, в отрезке: «Чуден Днепр при тихой погоде, когда вольно и плавно мчит сквозь леса и горы полные воды свои» словосочетаниями явятся: и весь отрезок, и части его: «чуден Днепр при тихой погоде», и «когда вольно и плавно мчит сквозь леса и горы полные воды свои», и части этих частей, как «чуден Днепр», «чуден при тихой погоде», «вольно и плавно мчит», «плавно мчит» и т. д. Но не будут словосочетаниями здесь такие отрезки, как «Днепр при тихой погоде» (считаю невероятным отнесение здесь слов «при тихой погоде» к слову «Днепр»), «когда вольно», «горы полные», потому что здесь слова соединены только в речи, но не в мысли (в другой связи, конечно, и эти сочетания слов могли бы быть словосочетаниями, например, подпись под картиной: «Днепр при тихой

погоде» или «*горы, полные* минералов»). Словосочетание — тоже *единство*, и тоже интегрально-дифференциальное. Нет такого словосочетания, которое составляло бы простую *сумму* входящих в него слов и значений. Это вытекает из самого определения словосочетания («объединенность в мысли» не может не быть интегральной). Следовательно, и здесь в значении есть «целое» и «части». Только здесь, в противоположность слову, «части» больше бросаются в глаза, чем «целое». Но что это «целое» реально существует в нашей психике, легко доказывается теми затруднениями, которые испытывало человечество при расчленении письменной речи на слова (во всех древних надписях и рукописях слова пишутся слитно во всю строку) и которые испытывает современный ребенок или неграмотный взрослый при обучении письму-чтению. Грамотность вытесняет из нашей памяти эти цельные «значения» словосочетаний, но что они когда-то носились перед нами и носятся и сейчас в подсознательной сфере, в этом не может быть сомнений.

Однако *полной* аналогии между словом и словосочетанием, как единствами, нет. В способах самого членения единства на составные элементы есть существенные различия. Так, элементы слова недоступны перестановке: вместо «водица» нельзя сказать «ицвода», «аицвод», «водаиц» и т. д. (исключения крайне редки, и о них можно здесь не упоминать.) Напротив, слова, как элементы словосочетания, в большей или меньшей степени могут переставляться (в русском языке максимально, например, в словосочетании «Я вчера вечером пришел домой» можно сделать более ста перестановок). Далее, известные ритмико-мелодические построения речи возникают только в словосочетании и по существу дела невозможны в отдельном слове. Наконец, то врастание одних элементов в другие, которыми замечательны слова флективных языков, отсутствует между элементами словосочетаний как раз тех же языков (впрочем, в ритмико-мелодической стороне словосочетания, изученной пока еще наименее, это врастание наблюдается в полной мере). Всё это заставляет нас рассмотреть вопрос о членении словосочетания отдельно. Только и тут не надо забывать, что речь пойдет не о «частях» в собственном смысле слова, а о «*принадлежностях*», т. е. о таких отдельных *элементах звуковой* стороны словосочетания, которые соответствуют определенным *элементам значащей* стороны того же словосочетания. И тут, поскольку мы остаемся в пределах грамматики, необходим основной принцип ее: значения по звукам — звуки по значениям.

На первый взгляд может показаться, что элементы значения словосочетания всецело даны в значениях отдельных слов. Ведь «сло́ва» — именно *значащие* единицы нашей речи, а не фонетические. Но на самом деле это не совсем так. Не забудем, что словосочетание — *единство*, что в нем, стало быть,

должны быть такие элементы, которых нет ни в одной из слагающих его частей в отдельности, что именно они-то и должны изучаться в словосочетании как таковом — и мы поймем, почему членение словосочетания на «принадлежности» лишь частично совпадает с делением его на слова.

Итак, какие же существуют отдельные соответствия между звуковой стороной словосочетания и его значением? — Начну с того, чего в отдельных словах *совсем* нет:

1) Как мы видели, слова в словосочетаниях могут менять место. *Всякая* такая перемена связана с переменой *значения* всего словосочетания, хотя бы и еле ощутимой. «Чуден Днепр при тихой погоде» — «Днепр чуден при тихой погоде» — «при тихой погоде чуден Днепр» — «при тихой погоде Днепр чуден» — непосредственное самонаблюдение говорит нам, что мы воспринимаем все эти сочетания не одинаково, что какая-то тонкая разница (которую принято называть стилистической) здесь существует. Не будем углубляться по существу в эту разницу (которая порой бывает очень тонка, а порой и очень груба, например, при счетном обозначении количества времени: «пять часов» и «часов пять»). Нам достаточно того, что она *всегда есть,* чтобы иметь право признать в *каждом* словосочетании особую *принадлежность*: *порядок слов.*

2) Каждое словосочетание произносится всегда с какой-нибудь определенной ритмо-мелодией. И при этом нет такого словосочетания, которое не могло бы *менять* этой ритмо-мелодии, которое произносилось бы *всегда* одинаково (сравн. вопросит. и утвердит. интонацию, которая у нас может быть при всяком словосочетании). Эта перемена опять-таки *всегда* связана с переменой *значения* всего словосочетания, хотя бы и еле ощутимой. Следовательно, мы в праве выделить еще одну *принадлежность* словосочетания — *ритмо-мелодию* его.

3) Отдельные слова в словосочетании могут получать по отношению к другим словам такое же *добавочное, сопутствующее* значение, какое имеют в форменных словах формальные принадлежности по отношению к материальным. Так, в словосочетании «в воде» слово «в» обозначает *только* то пространственное отношение, которое заключено, между прочим, в значении флексии предложного падежа -*э* (орфогр. *е*), в словосочетании «был болен» слово «был» обозначает *только* то сказуемостное отношение, которое заключено в глагольном суффиксе прошедшего времени («болел»), в словосочетании «самый белый» слово «самый» обозначает *только* тот оттенок, который заключен в суффиксе прилагательных -*эйш*- («белейший») и т. д. Такие слова, взятые отдельно, или *ничего* не значат или значат нечто совершенно *иное* (как «был» в смысле «существовал», «находился», «самый» в смысле ipse), являясь в этом случае уже, в сущности, *другими* словами. Ясно, что значения всех этих слов, проявляющихся только в словосочетании, составляют важную

сторону значения *всего словосочетания.* И следовательно, мы можем выписать еще одну принадлежность, правда не всех, но многих словосочетаний: *служебные слова.*

4) Существуют слова, в нашем языке, правда немногочисленные, которые, если их рассматривать отдельно, обладают *только* материальным значением (т.-е. аналогичным тому значению, которое в формальных словах заключено в корне): пальто, кенгуру, вчера, сплошь и т. д. Эти слова в *словосочетаниях* тоже оказываются разложимыми по значению на элементы, какие мы находим в форменных словах. Так, в словосочетании «он был без пальто» мы ясно сознаем в слове «пальто», кроме значения известной разновидности верхнего платья, еще и значение родит. падежа единствен. числа существительного, в словосочетании «вчера приехал» в слове «вчера», кроме значения предыдущего дня, еще и значение *отношения* этой даты к факту, выраженному словом «приехал», и т. д. Здесь не место углубляться в причины этой новой непараллельности звуков и значений (см. мой «Русский синтаксис в научном осв.», стр. 407 и сл., а также прекрасную главу об этом вопросе в книге Н. Бельчикова и А. Шапиро «Грамматика в школе взрослых», «Неграмматические слова», стр. 61 и сл.). Нам важно только установить, что этого рода слова получают в словосочетаниях *добавочные* значения, которых нет в них самих и которые приходится поэтому отнести к значению *всего словосочетания.* Следовательно, мы можем выписать еще одну *принадлежность* некоторых (правда, уже очень немногих) словосочетаний: *полные бесформенные слова* в их *синтаксических* значениях.

5) Этими 4-мя пунктами мы, собственно, исчерпали такие стороны словосочетания, которых совсем нет в формах отдельных слов. Но есть одна сторона речи, относительно которой чрезвычайно трудно решить, чему она принадлежит, слову или словосочетанию. Выше мы видели, что в элементе — *á* слова «вода» заключено четыре значения: предметности, единичности, символической связи с существами женского пола и безотносительности. Если вдуматься в эти 4 значения, то найдем, что они резко разделяются на 2 принципиально разнородные группы. К одной отойдут первые 3 значения, к другой — последнее, 4-е. В самом деле, и предметность, и единичность, и связь с существами женского пола принадлежат данному представлению самому по себе и не требуют соединения его с другими представлениями. Напротив, *безотносительность* отсылает нас к *другим* представлениям. Само по себе, конечно, всякое представление безотносительно, но если мы сознаем эту безотносительность как особый признак, как особый элемент значения, то это может происходить уже только на фоне всех остальных слов и их взаимоотношений. Так как однако это значение все-таки отрицательное и на нем наблюдать эту сто-

рону дела неудобно, то возьмем лучше какой-нибудь *косвенный* падеж, положим «воды́». В *-ы* мы найдем опять 4 значения: первые 3 — те же, что и в «вода́», а 4-е здесь уже будет не безотносительность, а, напротив, определенное *отношение* к другим словам-представлениям. И вот тут-то и появляется новая непараллельность звуковой и значащей стороны: по *звукам* элемент *-ы* принадлежит, конечно, всецело слову «воды́», по *значению* же он, в сущности принадлежит настолько же слову «воды́», насколько и тому слову, к которому это слово относится («*стакан* воды», «воды *дайте*»). Ведь если это *-ы* устанавливает *только* определенную связь между 2-мя представлениями, то ясно, что оно не может принадлежать само по себе ни одному из них в отдельности, а только их *сочетанию*. Другими словами, этого рода значения слов (так наз. «синтаксические») не принадлежат, в сущности, отдельным словам, а только *словосочетаниям*. Именно этим-то и объясняется, что «ультра-формалисты» не видят совсем этих значений в языке. Они ищут их в отдельных словах, а там их нет (значение «вода», «воды́» и т. д., как значение *отдельного слова* — одно). Но что в *словосочетаниях* эти значения есть, ясно хотя бы из того, что «позови мне» отличается по *смыслу* от «позови меня», «ударил доску» от «ударил доской», «корм лисы» от «корм лисе», и т. д. Этот великий *разрыв* звуковой и смысловой стороны речи, недостаточно еще до сих пор подчеркнутый в литературе, делает чрезвычайно трудным разграничение понятий формы слова и формы словосочетания, а с ними и разделение грамматики на морфологию и синтаксис. В самом деле, чья же это «принадлежность», если она по звукам принадлежит отдельному слову, а по значению — всему словосочетанию? Единственным выходом является, повидимому, локализация этой принадлежности и тут и там с соответствующими оговорками. Принадлежность *-ы* в слове «воды́», поскольку речь идет о *звуках*, есть принадлежность самого слова «воды́», поскольку же речь идет о падежном *значении* этих звуков, она есть принадлежность всего словосочетания, в котором употреблено это слово. А если так, то мы открыли еще *пятую* принадлежность словосочетаний: все формальные принадлежности отдельных слов словосочетания *в их синтаксических значениях*.

6) Все пять рассмотренных до сих пор принадлежностей словосочетания касались тех или иных *оттенков* значения, являясь чем-то добавочным, дополнительным для общего смысла нашей речи. Уже самая трудность выявления этих оттенков, необходимость доказывать их отдельное существование показывают, что не они в центре нашего внимания. И я думаю, что после развитых в предыдущей главе рассуждений о материальном и формальном, нет надобности убеждать читателя в том, что все они — формальны. Но возникает вопрос, в чем же

заключается *материальная* сторона словосочетания? На первый взгляд, она сводится как будто бы к материальным принадлежностям отдельных слов словосочетания с их материальными значениями, т. е. например, в словосочетании «ведро воды» к частям «ведр-» и «вод-» со значениями известного сосуда и известной жидкости. Но на самом деле такое определение было бы грубейшей ошибкой. Ведь мы с самого начала условились понимать словосочетание, как интегральное единство, проявляющее нечто такое, чего нет в частях, его слагающих. Ясно, что и материальной принадлежностью словосочетания, как *таковово*, должна быть не простая сумма материальных принадлежностей отдельных слов, а напротив что-то такое в них, что возникает (или, по крайней мере, вскрывается) только в словосочетании и чего совсем не существует в отдельных словах. Но есть ли такие элементы в материальной стороне значения словосочетания? Если присмотреться внимательно, то в той или иной степени мы найдем их в *каждом* словосочетании. В словосочетании «ведро воды», которое как раз наименее показательно в этом отношении, мы найдем в каждой из материальных принадлежностей обоих слов, его составляющих, такие специально-фразные оттенки. Так, представление о сосуде, называемом «ведром» осложняется здесь представлением об известной мере объема жидких тел («ведро воды» как «фунт хлеба»), и это добавочное представление идет только от слова «воды» (в словосочетании «продается железное ведро» этого оттенка не будет совсем). С другой стороны, представление о воде несовместимо здесь с теми оттенками, которые перечислены, как возможные для этого слова, в предыдущей главе (большие массы воды, покрывающие землю, минеральная вода, прозрачность кристалла, бессодержательность), и это только благодаря слову «ведро». Во многих других случаях такое влияние одних слов на другие гораздо ярче. Так слово «даю» имеет очень различные материальные значения в словосочетаниях: «даю хлеб», «даю пощечину», «даю знак», «даю урок», «даю время», «даю идею» и т. д., слово «идет» различные в словосочетаниях «человек идет», «поезд идет», «солнце идет», «дождь идет» и т. д. и т. д. На это можно было бы возразить (и так говорят обычно), что отдельное слово вообще «в сущности» ничего не значит, что всякое значение его создается в связной речи. И действительно, если распылить слова по *всем* тем оттенкам, которые оно приобретает в бесчисленных своих словосочетаниях (а *в каждом* словосочетании свой особый оттенок), то в конце концов от значения отдельного слова ничего не останется. Но ведь говорим же мы все-таки о значениях отдельных слов и даже самое слово определяем, как «звук или несколько звуков, имеющих значение» (Ушаков) или даже — «имеющих значение отдельно от других звуков и комплексов звуков, являющихся словами» (Фортунатов). И, конечно,

было бы явным абсурдом утверждать, что в слове «ведро», сказанном отдельно, нам ничего не представляется и что понимаем мы это слово только в словосочетании. Очевидно, генетическую сторону дела надо здесь отделить от статической, и тогда всё будет вполне ясно: как бы ни относились генетически значение слова и словосочетания друг к другу, статически мы должны различать два образа: один, возникающий в нас при произнесении *отдельного* слова, и другой — при произнесении того или иного словосочетания с этим словом. Весьма вероятно, что первый есть лишь *отвлечение* от бесчисленного количества вторых. Но статически это не меняет дела. Всё же этот образ *есть*, это «отвлечение» не есть плод научных размышлений, а живой психологический факт, и он может, даже вопреки действительности, представляться как первосущность, а конкретные образы слов в словосочетаниях как модификации этой первосущности. И вот всё то, чем живой, индивидуальный образ материальной стороны в словосочетании отличается от этой первосущности, от этого отвлечения, и будет материальной стороной *словосочетания*. И она определится как *совокупность материальных значений слов в их фразных оттенках.*

Подведем итог. В словосочетании, как и в отдельном слове, мы тоже нашли две стороны, две стихии, два начала: формальное и материальное. Первое, как и в отдельном слове, обнимает собой и звуковую сторону словосочетания, и значение его. Оно состоит: 1) в порядке слов и его *значении*, 2) в ритмо-мелодии и ее *значении*, 3) в служебных словах и их *значениях*, 4) в бесформенных полных словах в их синтаксических *значениях* и 5) в формальных принадлежностях отдельных форменных слов в их синтаксических *значениях*. Всё это вместе и образует *формальную принадлежность словосочетания*. И если мы теперь определим так называемую «формальную» грамматику (т. е., в сущности, просто научную грамматику), как учение о *формальных принадлежностях слов и словосочетаний и их взаимоотношениях между собой и с материальными принадлежностями тех же слов и словосочетаний*, то посильный ответ на вопрос, поставленный в заглавии, будет, думается нам, дан.

Аналогично и семасиология окончательно определится как учение о значениях материальных принадлежностей слов и словосочетаний и о значениях целых слов и словосочетаний, поскольку в них не различаются материальные и формальные принадлежности.

III.

Надеюсь, что после всего изложенного читателю ясно, что смысловая сторона речи не только не может быть изгнана из грамматики, но даже, напротив, составляет как раз ее сущность. Однако, для полного выяснения вопроса и из страха перед вульгарным пониманием дела, которое может отбросить иного читателя после подобных рассуждений обратно в объятия школьной грамматики, я считаю уместным остановиться здесь на некоторых грехах этой последней и на них, путем отрицательного примера, конкретно показать, чем должна заниматься грамматика как наука. Мы увидим, что грехи школьной грамматики не в том, что она занимается значениями, а в том, что она занимается *не теми* значениями, какими нужно, *не в той связи*, в какой нужно, и *не по тому методу*, какой нужен.

Возьмем основной грех школьной грамматики — определения частей речи. Выберем, положим, определение существительного: «слово, обозначающее предмет».

В настоящее время всякий даже «не обучавшийся в семинарии» знает, что это не верно, что «белизна», «драка», «хождение» не обозначают предметов, хотя и являются существительными. Но значит ли это, что разница между «белизна» и «белый» или «хождение» и «ходит» исключительно звуковая, как это думают «ультра-формалисты», что в «белизне» и «хождении» нет даже никакого *оттенка* предметности? Конечно, не значит. Простое самонаблюдение показывает всем, кроме тех же «ультра-формалистов», что «белизна» и «белый», а тем более «хождение» и «ходит» и по смыслу *чем-то* отличаются друг от друга. Это «что-то» заключено, очевидно, в значении звуков формальных принадлежностей этих слов (*-изна* и *-ый*, *-ение* и *-ит*), и только это «что-то» и должно изучаться в грамматике. Только из-за этого «чего-то» слова на *-изна* и *-ение* и являются существительными. Что это «что-то» очень близко к предмету, что это какая-то «*предметность*», в этом, конечно, не может быть ни малейших сомнений. Следовательно, грех школьной грамматики здесь не в том, что она говорит о «предмете», а в том, что: она говорит о «*слове*», обозначающем предмет. Вспомним грамматика есть наука о *формальных принадлежностях* слов. Ей нет дела до целых слов. Ей не нужно знать, что обозначает всё слово, а только, что обозначает его формальная принадлежность. И если мы в школьное определение существительного внесем одну крохотную, но методологически колоссальную поправку, если мы скажем: «слово, обозначающее в своих *формальных принадлежностях* предмет», то это определение будет *верно*. И «белизна», «хождение» и т. д. подойдут под это определение и законно будут существительными, хотя материальные их принадлежности и не обозначают предметов.

Другой грех школьной грамматики, связанный с частями речи, тот, что такие слова, как «я», «ты», «он» хотя и обозначают предметы, но, вопреки определению, не включаются в существительные (аналогично и для прилагательных «мой», «твой» и т. д.). Логический дефект ясен, но тем не менее и тут «дым» не без «огня». Если бы школьная грамматика имела представление о делении языковедения на семасиологию и грамматику, а слов на материальные и формальные принадлежности, она сказала бы: слова «меня», «мне», «мной», «тебя», «тебе» и т. д. (именит. падежи, как бесформенные, на особом положении) в своих *формальных принадлежностях* обозначают точно такую же предметность, как и все остальные существительные. Поэтому это самые настоящие существительные. Но в своих *материальных принадлежностях* эти слова, вместе с некоторыми прилагательными, наречиями, и даже, изредка, глаголами, имеют поразительное свойство: они обозначают не представления наши сами по себе (как все остальные слова), — а только различные *отношения* наших представлений к самому представляющему субъекту. Так как отношения этого рода обозначаются вообще в языке формальными принадлежностями слов (между прочим, формальные принадлежности лица, времени и наклонения в глаголе являются как раз этого рода формальными принадлежностями), то получаются чрезвычайно парадоксальные слова, у которых *материальная* принадлежность — *формальна*. Из-за этого (и это единственный случай этого рода) грамматика должна здесь останавливаться и на *материальных принадлежностях самих по себе*, и по ним-то и может противопоставить эти существительные всем остальным, как особый разряд *местоименных* существительных.

То же, хотя и в другом роде, и с числительными. Конечно, предметный оттенок формальных принадлежностей слов «пять», «пятью», «пяти», «десять», «десяти», «десятью» и т. д. слабее, чем хотя бы в словах «пяток», «десяток», «пятерка», «десятка» и т. д. И это связано с целым рядом синтаксических отличий: нельзя сказать «мой пять» или «моя пять», как «мой пяток» и «моя пятерка», нельзя сказать во множественном числе «пя́ти» по образцу «кости», хотя можно: «пятки́», «пятерки». И то, что все эти особенности имеются как раз у счётных слов, не случайно. Это связано с особенностью значения их *материальных принадлежностей* (таких слов как «пара», «пяток» и т. д. очень мало, и они для счета как раз не употребляются). А так как грамматика должна заниматься не только формальными принадлежностями, но и *отношениями их к материальным*, то ей здесь есть чем заняться и есть основание выделить все счетные существительные (кроме слов «тысяча», «миллион», «миллиард» и т. д.) в особую группу. Но сделать это она может только на почве того же рассечения значения слов на материальное и формальное, которого школьная грамматика не знает.

Или возьмем, например, противоречие между школой и наукой в анализе членов предложения: «дом *отца*» и «дом *отцовский*» объединяются в школе как «определения», «еду *в деревню*» и «продаю *деревню*», напротив, разъединяются как «обстоятельство места» и «дополнение». Эти случаи служат обычно боевыми пунктами в борьбе между поклонниками старого и нового, и, кажется, они-то и окружили новую грамматику своеобразным ореолом бессмыслия: всем ясно, что «отца» и «отцовский» *по смыслу* «одно и то же» — а они в формальной грамматике разъединяются; наоборот, «в деревню» и «деревню» (во 2-м сочетании) различны — а формальная грамматика их объединяет. Отсюда вывод — долой смысл, да здравствует формальная грамматика! Но и тут нельзя понимать дело так упрощенно. Формальная грамматика *не совсем* разъединяет первые две категории и *не совсем* объединяет вторые две. Она говорит: словосочетания «еду в деревню», «продаю деревню» и «дом отца» сходны между собой в том, что во всех них формальные принадлежности 2-го слова обозначают *предмет в его отношениях к предмету или признаку*, выраженным в первом слове. В *этом* между ними всеми нет *ни малейшей разницы*, и *это* в данном случае для грамматики *главное*. Словосочетание «дом отцовский», напротив, в *этом* отношении резко разнится от остальных трех, так как в нем формальные принадлежности второго слова обозначают *признак* того предмета, который обозначен первым словом. И это различие тоже *главное, основное* (в сущности, то же говорит и школьная грамматика в своей первой части, так называемой «этимологии», называя первые три слова существительными, а четвертое прилагательным). Но если анализировать те *отношения*, в которые становится предмет одного слова к предмету или признаку другого в словосочетаниях первого типа (что для школы, пожалуй, и излишне и что сама школьная грамматика делает совершенно убого и косолапо), то найдем, что отношения эти крайне разнообразны и в данном случае во всех трех словосочетаниях различны. В словосочетании «еду в деревню» выражено отношение *направления* действия, обозначенного 1-м словом, к предмету, обозначенному 2-м словом (при чем выражено оно здесь *двумя* средствами — служебным словом «в» и суффиксом «у», из которых первое имеет еще и более специальное значение проникновения внутрь того предмета, к которому направлено действие). В словосочетании «продаю деревню» выражено отношение *непосредственного перехода* действия, обозначенного 1-м словом, на предмет, обозначенный 2-м словом. Наконец, в словосочетаниях «дом отца» выражено отношение *принадлежности* предмета, обозначенного 2-м словом, предмету, обозначенному 1-м словом. Все эти значения связаны со значениями *материальных* принадлежностей всех этих слов (сравн. «играю в лапту», «сижу ночь», «кружка пива», где все отношения будут другие), и грам-

матика обязана эту связь вскрыть, ибо она занимается не только формальными принадлежностями, но и отношениями их к материальным (здесь, конечно, по условиям места нет возможности углублять этот анализ). Далее, найдя в словосочетании «дом отца» во флексии родительного падежа значение принадлежности и найдя то же значение в суффиксе *-овск-* прилагательного в «дом отцовский», она не побоится сказать, что в *этом* отношении оба словосочетания *равнозначны.* Точно так же не будет она отрицать и сходства значения винительного падежа существительного в словах: «еду в деревню» с цельным значением полного бесформенного слова «туда» в словосочетании «еду туда». Но она с недоумением спросит, нужно ли всё это для школы, а если нужно, то почему школьная грамматика изучает только *эти* значения, а не многое множество им подобных, заключенных в языке. Почему, например, она не изучает значения *совместности* в флексиях творительного падежа в словосочетаниях типа «шел с товарищем» и почему не сближает этого значения с цельным значением бесформенных слов «вместе», «совместно», «сообща» и т. д.? Почему она не вскрывает значения *орудности* в том же творительном падеже в словосочетаниях типа «рубил топором»? Значения *превращения* и *уподобления* в том же падеже в словосочетаниях типа «обернулся серым камнем», «смотрел волком»? Значения *результата* в словосочетаниях типа «строил дом», «писал письмо»? Значения *внутреннего объекта* в словосочетаниях «думал думу», «делал дело»? Почему она вообще не изучает тех крайне многочисленных, многообразных, сложных и тонких значений, которые заключены в формальных принадлежностях слов и словосочетаний, а берет 5—6 *общих логических* категорий («время», «место» и т. д.) и рассовывает между ними как попало все эти значения, совершенно не справляясь при этом с тем, какими звуковыми средствами они выражены? И далее, что *значит* школьное «дополнение»? Почему отношения совместности, орудности, превращения, результата и т. д. и т. д. объединены в эту одну рубрику? А отношение, например, принадлежности в «дом отца», количества в «кружка пива», той же совместности в «человек с усами», той же орудности в «рубка топором» и т. д. и т. д. в другую, не менее загадочную рубрику «определения»? Или эта рубрика имеет в виду только *приимённость* таких косвенных падежей существительного и в *этом* только отношении приравнивает их к прилагательному, которое по природе своей всегда приимённо? Тогда она опять-таки совершенно права, но при чем тогда тут «время», «место», и т. д.?

Остановимся еще на 2-х более частных случаях. Среди множества разрядов существительных в школьной грамматике есть между прочим разряд существительных собирательных и единичных. Для чего введено это деление и почему

оно нужно в грамматике, остается обычно неизвестным. Но из этого опять-таки не следует, что в языке нашем нет грамматического значения собирательности. Более подробное изучение существительных (которому опять-таки в школе не место, и во всяком случае не место в начале курса, куда всегда помещается эта собирательность) вскрывает следующее: 1) в нашем языке есть живые, действенные суффиксы существительных, придающие основе слова оттенок собирательности: *йо* (тряпьё, бельё, дубьё, вороньё, дурачьё, сравн. у Маяковского «людьё», у Блока «солдатьё», «юнкерьё»), *няк* (дубняк, березняк, молодняк), *ник* (ельник, осинник, малинник) и некоторые другие, при чем все эти слова лишены форм множественного числа; 2) такие слова, как «народ», «полк», «отряд» и т. д., хотя и не отличаются ничем по формам отдельных слов от остальных существительных мужского рода, но по формам *словосочетаний*, в которые они вступают, имеют важное отличие; говорится: «вижу народ, полк, отряд», а не «вижу народа, полка, отряда», хотя «вижу челове*ка*, бра*та*» и т. д.; особенность эту можно объяснить только собирательностью *материального* значения этих слов, которая вызывает здесь важную синтаксическую особенность; 3) в выражениях: «дальше сосна пошла», «нынче студент не тот пошел», «с запада немец прет, с юга турок» и т. д. значение формы *единственного* числа видоизменяется и притом именно в сторону собирательности (сравн. обычное значение единственного числа в выражениях: «на утесе росла высокая сосна», «к нам пришел соседнемец» и т. д.). Если бы школьная грамматика ничего не говорила о собирательности *вообще* (случаи эти слишком разнородны, чтобы тут можно было установить какую-либо общую категорию), а вскрывала бы эту собирательность, где нужно и когда нужно, она была бы совершенно права. Разумеется, такие существительные, как «лес», «стадо», «роща», «семья», «куча», «общество», «войско» и т. д. и т. д. остались бы тогда совсем в стороне (потому что в них *грамматических* особенностей *никаких* нет, и их собирательность может рассматриваться только в *семасиологии*), и не приходилось бы ученикам гадать, что́ «песок», «порошок», «крупа» и т. д. — «вещественные или собирательные» (с «вещественностью» совершенно то же; она нужна грамматике, но не в виде общей этикетки, а для определения оттенков значения некоторых формальных принадлежностей). Возьмем еще школьную рубрикацию залогов. Их там от 5 до 6, тогда как в научной грамматике всего 2 (возвратный и невозвратный). Но значит ли это, что между «люблю» и «сплю» нет *никакой* грамматической разницы? Нет, разница есть, но она не в том, в чем видит ее школьная грамматика. По формальным принадлежностям самих этих слов между ними нет никакой разницы, но по формальным принадлежностям *словосочетаний*, в которые они вступают, есть разница:

1-е способно вступать в сочетание с винительным падежом существительного со значением *перехода* действия на предмет («люблю его»), 2-е неспособно на это. И эта *синтаксическая* особенность значения таких словосочетаний тесно связана (как и большинство синтаксических особенностей) со значением *материальных* принадлежностей слов «люблю» и «сплю», которое тоже должно быть здесь вскрыто. С другой стороны, разница между «купаю» и «купаюсь» тоже очень важна для грамматики, но она совсем другого рода: она заключается *только* в формальной принадлежности «*сь*» и ее значении. Наконец, между 1-м различием и 2-м тоже известное взаимоотношение (при «купаю» возможен винительный падеж, со значением перехода действия, а при «купаюсь» невозможен), и оно тоже может быть проанализировано. Но для этого не достаточно наклеивать наскоро этикетки на языковые факты, а надо понимать «что к чему».

Приведенных примеров, я думаю, достаточно, чтобы считать доказанным, что школьная грамматика изучает не те значения, какие нужно (обще-логические, а не языковые), не в той связи, в какой нужно (не в связи с звуковой стороной речи) и не по тому методу, какой нужен (не по методу рассечения и звуковой и значащей стороны слов и словосочетаний на материальные и формальные элементы). Так как однако логические категории не скрываются где-то в поднебесьи, а существуют в нашей мысли бок-о-бок с грамматическими, так как они просвечивают более или менее завуалированно во всех гораздо более многочисленных и сложных категориях языка, то в результате школьная грамматика никогда не бывает *до конца не права*. Поскольку между логикой и грамматикой есть естественный мост, постольку и в школьном синтаксисе есть крупицы грамматики (в так называемой «этимологии» ее даже очень много, потому что там мало говорится о логических значениях и очень много, хотя и не осознанно, о формальных принадлежностях). Но в то же время она, конечно, *никогда* и *ни в одном вопросе* не может быть *до конца права*, так как не знает ни предмета своего изучения, ни метода. И в этом одном, а не в пристрастии к значениям языка, которые она, к сожалению, напротив, слишком мало знает, — сущность отличия ее от формальной грамматики.

Правописание и грамматика в их взаимоотношениях в школе.

Необходимы ли грамматические сведения для приобретения правописных навыков? Вот вопрос, который не раз ставился в нашей методической литературе и решался весьма по-разному. Здесь имеются все оттенки мнений, начиная от традиционной веры в грамматику как единственную опору правописания, и кончая парадоксальными утверждениями, что изучение грамматики *препятствует* усвоению правописания [1]). В последнее время, в связи с проникновением в педагогическую среду лингвистических сведений о психо-физиологии письма, в связи с опытами Лайа и статьями Томсона, вера в грамматику, как служанку правописания, сильно упала и в иных кругах сменилась даже прямым неверием. Это неверие чрезвычайно ярко отразилось в московской программе 1921 года, в свою очередь, конечно, распространившей это неверие на более широкие круги учительства. «Указанные уменья» говорится тут (речь идет об уменьях правильно читать, писать и говорить), «достигаются не обучением грамматике, а всею совокупностью занятий родным языком». И далее: «собственно грамматика-то ни тому, ни другому, ни третьему не учит; эти цели ей ставили по недоразумению вследствие отсутствия ясного понимания взаимоотношений между разными отделами того многогранного школьного предмета, который носит название «русский язык», и вследствие неудовлетворительности материала одного из этих отделов, именно грамматики». В последних словах сказывается горячее желание нео-грамматиста внушить учащему представление о грамматике, как об особой науке, изучающей природу языка, и разрушить традиционную веру в *исключительно*-служебное значение грамматики. Но как ни похвально это желание само по себе, нельзя не заметить, что между 2-мя цитированными местами программы, взятыми на одной странице и даже из одного и того же периода, имеется резкое противоречие. С одной стороны, правописание достигается «*всею совокупностью* заня-

---

[1]) Соломоновский, О постановке русского языка, в средней школе, «Педагогический Сборник», 1894, май.

тий родным языком» (курсив мой. *А. П.*), т.-е. стало быть, в том числе и грамматикой. А с другой стороны, грамматика правописанию «не учит». Здесь сказалась, повидимому, *нерешенность* вопроса (или, по крайней мере, неокончательная решенность) для самих составителей программы. И действительно, если брать текущую литературу, то в ней, несмотря на преобладающее, как выше сказано, охлаждение к роли грамматики в обучении правописанию, продолжают слышаться и иные голоса. «Что касается заучивания правил, то в некоторых случаях знание их является единственной опорой правописания, в некоторых случаях технически без знания правил оно не может быть привито»,—читаем мы в объяснительной записке к программе русского языка в военно-учебных заведениях [1]). Этот голос особенно ценен тем, что тут же, на другой странице, говорится: «Теперь в военных школах должна преподаваться только формальная грамматика». Таким образом, стремление возвести школьную грамматику в ранг науки не всегда и не везде сопровождается отторжением от нее правописания. И на это имеются, как я пытаюсь ниже доказать, глубокие причины.

Решение вопроса о роли грамматики в обучении правописанию важно не только для правописания, но и для самой грамматики. Если бы решение это оказалось положительным и грамматика была признана необходимым элементом обучения правописанию, то тем самым решался бы и другой, более сложный и, быть может, иными путями даже неразрешимый вопрос: где и когда начинать обучение грамматике? С одной стороны, грамматика, родная сестра логики и психологии (родство, о котором теперь, когда оно перестало принижать личность одной из сестер, не стыдно заявить), должна помещаться где-то в конце обще-образовательного курса. С другой стороны, правописание тянет ее к самому началу его. Если бы эта тяга оказалась непреодолимой, нам пришлось бы раз навсегда примириться с тем, что труднейшая из наук должна преподаваться непосредственно вслед за букварем, и только удесятерить наши усилия в том направлении, чтобы она и тут оставалась «наукой».

Прежде чем приступить к посильному ответу на вопрос, поставленный в начале статьи, я хотел бы точно сговориться с читателем в формулировке вопроса. Прежде всего я подчеркиваю, что речь будет итти не о том, *полезны* ли грамматические сведения для приобретения правописных навыков, а о том, *необходимы* ли они для него. Мне кажется, нет нужды считаться здесь с крайними мнениями, что сведения эти вредны или абсолютно бесполезны для правописания. Огромное большинство педагогов и теперь не склонно отрицать совершенно пользу грамматики для правописания. Но чрезвычайно распространено мнение, что *вместо* грамматики тут могут быть под-

---

[1]) Русский язык в военно-учебных заведениях. Вып. I.

ставлены другие средства. Вот это-то мнение я и хочу подвергнуть анализу. При этом я представляю себе не всякого ученика, конечно, а ученика *средне-одаренного* в правописном отношении. Насколько легко дается правописание одним и насколько мучительно-трудно другим, об этом знает всякий педагог. И без ориентации на гипотетическую среднюю величину, вопрос вообще не может быть решон. Далее подчеркиваю, что речь идет именно о *приобретении* навыков, а не о последующем использовании их. Очень часто умалители роли грамматики в обучении правописанию ссылаются на то, что мы, взрослые, когда пишем, не думаем о «правилах». Но ведь и все привычные движения бессознательны и в то же время во всех них бессознательности предшествовало в свое время сознательное усвоение, нередко при помощи правил. Когда едешь на велосипеде, совершенно не думаешь о том, что нужно поворачивать руль в сторону паденья, и даже не замечаешь своих минимальных поворотов. Однако, когда *учишься*, необходимо *узнать* это правило. Наконец, не лишним считаю оговорить, что речь будет итти только о *русском* правописании. Весьма возможно, что в более широкой постановке, применительно ко всякой орфографии, вопрос этот вообще неразрешим.

В настоящее время уже нет надобности бороться за тот общий принцип, что все методические положения в данной области должны вытекать из данных психо-физиологии письма. Не менее общим местом является и та истина, что правописное искусство всецело зиждется на прочности ассоциации зрительных и руко-двигательных образов слов со значениями языка. Но при обсуждении практических мер для достижения этой прочности у учащегося нередко упускается из виду кардинальный факт: *разнородность* того, с чем приходится ассоциировать образы слов, разнородность самих *значений* языка. Я имею в виду деление этих значений на реальные и грамматические. Это два ряда образов, психологически *противоположных* друг другу. Обычно, чем живее воображение ученика, чем ярче он представляет себе вещи и события, тем слабее его грамматические способности и его грамматические ассоциации. И, наоборот, чем лучше ученик разбирается в тонкостях грамматики, тем бледнее его речь, тем слабее воображение, тем рациональнее (или даже беспомощнее) его «выдумка». Трудно даже назвать «образами» значения падежей, чисел, частей речи и т. д. А между тем, когда мы говорим о «значениях языка», мы должны учитывать и их: так называемые грамматические части слов (префиксы, инфиксы, суффиксы, флексии, сюда же входят и служебные слова) нужно ассоциировать для правильного начертания именно с *ними*. Для того, чтобы написать правильно, положим, сочетание «в деревне», ученик должен иметь два правописных образа: «деревн-» и «в | — е», при чем первый должен быть как можно теснее связан с так называемым «зна-

чением» слова, т.-е. в данном случае с картиной ряда, изб, овинов, изгородей, проселка, кур, петухов и т. д. Чем живее будет эта связь, чем эмоциональнее образ деревни ляжет в душу ребенка при первом (контролируемом учителем) написании слова, тем вернее гарантировано последующее уменье его писать. Совершенно наоборот дело обстоит со вторым образом («в|—е»). Его *нельзя* ассоциировать с видом деревни, так как иначе ребенок не сумеет написать: «в комнате», «в книге», «в рубахе» и т. д. Тут нужно, наоборот, *отвлечь* зрительный и рукодвигательный образ от реального образа и связать с *чем-то другим.* С чем же? С тем, что называется в лингвистике *формальным значением* слова и что сознается людьми с разной степенью отчетливости в меру их *способности к отвлеченному мышлению.* Таким образом, мы видим в двух *ветвях* правописного искусства — правописания корней слов и правописания грамматических частей — принципиальное различие: первое зиждется на ассоциации начертаний слов с конкретными образами, второе — с абстрактными. При равной степени зрительной и рукодвигательной памяти первое зависит от силы воображения и эмоциональной заинтересованности, второе, наоборот, — от способности к отвлечению и обобщению. Различие это так велико, что я готов говорить тут о двух разных искусствах и уж во всяком случае о двух ветвях искусства, подобно колориту и рисунку в живописи, гармонии и мелодии в музыке. И решить одним ударом *общий* вопрос о необходимости грамматики для правописания при таких условиях невозможно. Необходимо расчленить его соответственно членению самого искусства, т.-е. выяснить отдельно, необходима ли грамматика для правописания корней и необходима ли она для правописания грамматических частей слов и служебных слов.

I. Первый вопрос решается чрезвычайно просто и быстро простым статистическим подсчетом. Я только недавно покончил с собиранием примеров для своего «Нашего языка» и могу засвидетельствовать, что таких случаев, как «собака», «баран» и т. д., где правописание безударного гласного *не может* быть проверено переменой ударения, *больше,* чем таких, где оно может быть проверено. А между тем вся эта масса начертаний должна быть усвоена, и этого и не так трудно достичь, как ясно из предыдущего, при помощи зрительного метода. Нужно только, чтобы этот метод применялся систематически, чтобы был составлен *курс правописания* таких слов в связи с материалом для чтения, так, чтобы учитель в любую минуту знал, какие слова ученики его уже умеют писать и какие они еще должны выучиться писать, и чтобы усвоение начертаний шло здесь так же непрерывно и неуклонно, как при усвоении слов иностранного языка. В том же порядке могут быть усвоены и начертания тех корней, где так называемое «изменение слова» с соблюдением известных условий дает рациональ-

ную основу для начертания. В этой области роль грамматической выучки несомненно сильно преувеличена. Конечно, и здесь упражнения с переменой места ударения или с изменением состава согласных слова не только не мешают, но и чрезвычайно помогают делу, не говоря уже о том, что они являются прекрасным средством развития речи, способствуя дифференциации речевых представлений. Но признать здесь усвоение правила за conditio sine qùa non невозможно. Кроме того и те правила, которые выработала здесь школьная практика («измени слово так, чтобы...») и которые вполне достаточны для дела, отнюдь не могут быть названы грамматическими. Они могут применяться и без знания корня и формальных принадлежностей слова, и даже без общего представления об этих элементах. Это скорее *до-грамматические* правила, требующие лишь некоторых знаний по фонетике. Но необходимость последних, хотя бы в самых скромных размерах (понятие об ударении слова, о слогах, о гласных и согласных звуках), еще не отрицалась ни одним методистом и настолько тесно сплетается с самым обучением письму-чтению, что говорить здесь о специальных нуждах правописания не приходится.

II. Совсем другое нужно сказать о правописании грамматических частей слова и служебных слов. Прежде всего, относительно *безударных гласных* надо констатировать, что то до-грамматическое правило, которое прекрасно обслуживает правописание корней, здесь отказывает в своих услугах. Правда, для выявления общего принципа нашего правописания (писать безударные гласные по ударным) и впредь до углубления в грамматическую мудрость (т.-е., по моим представлениям, в самом начале занятий правописанием) его и здесь можно и даже должно применять. Но, во-первых, приходится его видоизменить и значительно усложнить. Вместо: «*измени слово* так, чтобы безударный гласный оказался под ударением» приходится учить: «*придумай другое слово* с таким же окончанием, так чтобы в нем тот же гласный звучал под ударением» («стоял за стулом — стоял за столом», упражнение несомненно очень полезное и, к сожалению, почти отсутствующее в нашей школьной практике). А, во-вторых, практически оно может привести к таким ошибкам, предотвратить которые может только знание грамматики. Так, выражение «разбил молот*ом*» ребенок может изменить в «разбил попол*ам*», выражение «подошел к церкв*и*» в «подошел к рек*е*» и т. д. Кроме того, и это самое важное, в нашем правописании есть ряд флексий, почти не встречающихся или даже совсем не встречающихся под ударением. Сюда относятся:

1) Флексия прилагательных -ог*о*, -ег*о* (встречаются под ударением только в словах: *моего, твоего, своего, чьего, одного, всего, того, самого* да в существительных: *кого, чего* и *его*, причем все эти слова семасиологически очень далеки от обычных прилагательных);

2) флексии прилагат. -а*я*, -я*я*, и -о*е*, -е*е* (встречаются под ударением в тех же прилагат., что и предыдущие флексии); правда, эти флексии могут ассоциироваться с флексиями существительных: «ладь*я* и «жить*ё*», но у самих-то сущ-ных они при безударности трудно различимы, и там их принято различать прикладыванием прилагательного «моя» и «мое», что создает нередко бессмысленные сочетания;

3) флексия прилагат. -ым*и*, -им*и* (встречается под ударением только у 5—6 *сущ-ных*: дверьми, зверьми, костьми, людьми, лошадьми, при чем различие в части речи препятствует подстановке);

4) флексия прилагат. в им. мн.-ы*е*,— и*е* (никогда не встречается под ударением);

5) флексии всех косвенн. падежей ед. ч., кроме местного, в 3-м склонении сущ-ных (встречаются под ударением только в нескольких односложных словах: ржи, лжи, вши);

6) флексия им. мн. от сущ-ных на -енок, -онок, (-ят*а*, -ат*а*, никогда не встреч. под удар.);

7) флексия им. мн. от сущ-ных на -анин, -янин (ан*е*, -ян*е*, никогда не встречается под ударением);

8) флексия им. ед. от 10 сущ-ных на -мя (никогда не встречается под ударением в выражении на племя́ — вин. множ.);

9) флексии сравнительной степени: поздне*е*, позж*е* (никогда не встреч. под удар.);

10) флексия 2-го л. мн. ч. глаголов: сидит*е*, читает*е* (под ударением только в народной речи: спите́, ходите́ или спитё, ходитё);

11) флексия возвратн. глагол. -ся (произношение «взялся́», «удался́» и т. д. нелитературно и кроме того, конечно, звучит всегда твердо: «взялса̀», «удалса̀».

Анализируя суффиксы, мы собрали бы еще дополнительную жатву (например, суффикс -тель в сущ-ных, суффикс -оват в прилаг. и т. д.), но я думаю, что и приведенных фактов достаточно, чтобы убедиться, что самые распространенные начертания наши не могут опереться на правило об изменении безударного гласного в ударный. К этому можно еще только прибавить, что орфографические суффиксы так называемых 1-го и 2-го спряжений (*е* и *и*) хотя и могут притягивать к себе ударение (вед*ёшь* и крич*ишь*), но самая двойственность случаев с ударением не дает орфографической ориентировки и что одна из самых распространенных наших представок *раз—роз* пишется *вопреки* правилу об ударении (расписание — роспись). Кроме того, в представках самая подстановка для ученика, не различающего представки и корня, почти не дает результатов, так как здесь слишком много омонимных по началу слов, начинающихся звуками представки, но на самом деле не имеющих ее (на «собор» он может привести и «сани» и «соболь», и «сажа» и «сотня»). Из служебных слов все односложные союзы всегда

безударны. Наконец, не надо забывать, что правило о перемене места ударения обслуживает только *половину* правописания — правописание *гласных*, тогда как другая половина, правописание согласных, обслуживается в корнях таким правилом, которое для грамматических частей не имеет никакого значения (изменить слово так, чтобы после согласного пришелся гласный или сонорный согласный: воз — возы — привозной). Здесь выступают на первый план глагольные флексии: *ть*, *тся*, *ться*, причастный суффикс *нн*ый в отличие от большинства прилагательных на *н*ый, такие случаи, как «рожь» и «рож» и многие другие чисто грамматические трудности.

Кроме правила о перемене места ударения, существует еще одно до-грамматическое средство, ложно считаемое обычно грамматическим: так наз. «вопросы». В следующей статье мне придется оценивать это средство в деле обучения грамматике. Теперь я коснусь его специально как опоры правописания. Если бы оно способно было оказать здесь серьезную услугу, то можно было бы значительно отодвинуть обучение грамматике, пустив в ход в первые годы только начисто оторванные от нее «вопросы». От этого выиграли бы и дети и грамматика. Но, увы, по-моему и в деле правописания вопросы мало полезны. Причины этого частью те же, которые делают *вредными* «вопросы» в грамматике, частью иные. Прежде всего возможность грамматического несоответствия ответа вопросу, мешая там различать форму, не позволяет здесь различить начертания. Если на вопрос «где?» могут получиться ответы «в деревне» и «у деревни», то ясно, что «вопрос» орфографии не предрешает (вопросы «в чем» и «у чего» предполагают параллельное изучение грамматики). В былые времена, когда ученики на первых уроках языка твердо вызубривали, что на вопрос «куда?» пишется *е*, а на вопрос «где?» — *ѣ*, они потом нередко писали «я поехал к рек*е*», резонно мотивируя это тем, что здесь слово отвечает на вопрос «куда?». Впрочем, и в те времена чувствовалось, что на вопросах «где?» и «куда?» далеко не уедешь, и преподаватель спешил перейти к вопросам косвенных падежей («кого — чего» и т. д.), чтобы осилить склонение. А в таком случае дело сводится к тому, насколько вопросы помогают усвоить самое склонение, и здесь я должен отослать читателя к упомянутой выше статье. Замечу только, что даже выучив ученика склонению по вопросам и приучив его грамматически точно ставить вопросы, мы все же не получим *письменных флексий*, как вывода из вопросов: на вопрос «кому — чему?» можно написать и «деревн*е*» и «церкв*и*», на вопрос «в ком—в чем» и «в деревн*е*» и «в церкв*и*», на вопрос «кто—что» и «дел*о*» и «сил*а*» и «угл*и*» и «уголь*я*» и «мещан*е*», на вопрос «кого — чего» и «радост*ей*» и «извест*ий*» и т. д. Переходя к прилагательным, мы действительно найдем 2 вопроса, помогающие правописанию («каким?» и «о каком?»), но что тут дело не в вопросе, а в том изменении места ударения,

о котором говорилось выше, ясно уже из того, что вместо этих 2-х слов мы с равным успехом можем подставлять и «таким» и «о таком». Те же трудности правописания прилагательных, которые не разрешаются переменой ударения (см. выше перечень), не разрешаются и вопросами, потому что в «какие», «какого», «какими», «какая», «какое», последняя гласная так же недоказуема, как и в «добрые», «доброго» и т. д. Наконец, в глаголах «вопрос» вообще только помогает различать самую глагольность, но не ее форму (о вопросах «что делает?» и «что делать?» см. ниже). Из вопросов «что делаешь?», «что делают?» сами по себе не вытекают ни *ь*, ни *е*, ни *ют*. Далее правописание всех *суффиксов и представок*, слитное и раздельное написание отрицания, различение «не» и «ни» и кое-что другое уж никоим образом не может быть поддержано вопросами, и соответствующих попыток никогда и не делалось. Невозможность ответить на вопрос «суффиксом» ведет к тому, что важные орфографически причастные формы «читаемый» и «читанный» совершенно не могут быть отличены при помощи вопроса от обычных прилагательных. Даже некоторые флексии не отвечают ни на какой вопрос. Так, в сочетаниях, приближающихся к слитным речениям, вопроса поставить по большей части невозможно: в сочетании «попал в затруднение» нельзя спросить ни «куда попал?» ни «во что попал?», в сочетании «оставался в нерешительности» нельзя спросить ни «где оставался?», ни «в чем оставался?» и т. д. Безличный глагол и инфинитив, от него образованный, тоже по большей части не отвечают на вопрос, так что флексии *-тся* и *-ться* совсем не так легко различаются по вопросам «что делает?» и «что делать?», как это обычно думают. В личных глаголах это, правда, по большей части возможно (хотя тоже не всегда, сравн. тяжеловесность вопроса: «Что делает этот гвоздь? Он *годится*», или: «Что он перестал делать? Перестал *годиться*»), но в безличных почти никогда (предлагаю читателю подобрать вопрос к формам: «Это может *случиться*», «Ему *случится* вскоре быть в городе», «Не *годится* браниться»).

При обучении *знакам препинания* роль грамматики сильно преувеличена, как это я всегда и везде отстаиваю. Однако, пока не разрешено ставить запятой между подлежащим и сказуемым, между управляемым и управляющим словом, между существительным и согласуемым с ним прилагательным (последние два случая с определенными интонационными исключениями) и между глаголом и относящимся к нему наречием, до тех пор *запрещение* ставить здесь запятую может быть обосновано *только грамматически*, и это настолько очевидно, что не нуждается в доказательствах.

На всё это мне могут возразить, что ведь есть же *подсознательная* работа мысли, есть *подсознательные* процессы отвлечения и обобщения, которые протекают в нас в отношении

правописания при чтении книг и письме. Подобно тому, как ребенок, как бы он ни был мало способен к отвлеченному мышлению, усваивает в конце концов без всякого знания грамматики родной язык, даже и наиболее изобилующий формами, и притом усваивает лучше и тверже, чем иностранец, вооруженный множеством грамматик и словарей, так же он может усвоить, скажут мне, и родное письмо, не подозревая о существовании грамматики. В доказательство могут сослаться на то, что некоторые *грамматические* трудности правописания даются детям чрезвычайно легко и нередко преодолеваются даже детьми, *не учившимися* грамматике. Так, дети, не знающие ничего ни о прилагательном, ни тем менее о родительном падеже его, могут приучиться писать формы «доброго», «синего» и т. д. через *г*, а слова «логово», «зарево», «здорово», «заново» и т. д. через *в*. Очевидно, у них представление о род. п. ед. ч. прилагательного в *подсознательной* сфере образовалось. Точно так же флексия род. п. ед. ч. сущ-ных мужского рода обычно правильно пишется и при безударности («города», «леса», «зуба» и т. д.), и ребенок, совсем не учившийся грамматике, крайне редко напишет: «я вышел из город*о*». Наконец, могут указать на иных писцов доброго старого времени, которые, заделавшись писцами исключительно благодаря красивому почерку, и не имея никакого представления о грамматике, путем многолетнего переписывания бумаг, «набивали руку» и в орфографии. Подобного рода возражения не учитывают по-моему следующего:

1) Условия усвоения орфографии практическим путем не те же, что условия усвоения родного языка:

а) ребенок не пишет и не может писать так часто и так много, как он говорит; что касается чтения книг, то оно, действительно, может происходить даже чаще, чем слушание; но тут условия самого восприятия совершенно иные (см. ниже);

б) ребенок не может при каждом неверно написанном слове немедленно встречать то же непонимание, недоумение, переспросы, порой насмешку и т. д., которые он встречает при каждом неверно сказанном слове и которые заставляют его равняться по речи взрослых; чтение и письмо — *не разговор*;

в) письменный «язык» ни для одного человека в мире не может быть в буквальном смысле «родным» языком, так как он всегда есть язык *второй*, наслаивающийся на устный; к тому же он по большей части в орфографическом отношении представляет из себя лишь *легкое видоизменение* устного языка, что делает его усвоение еще более трудным, чем усвоение настоящего второго языка; русский ребенок, говорящий по-французски или по-немецки с бонной, может научиться болтать по-французски или по-немецки (конечно, только *болтать*, а не говорить) параллельно с усвоением родного языка; но великорусский ребенок, имеющий няньку малороссиянку, никогда не научится говорить по-малороссийски, а будет либо игнорировать

особенности ее речи, либо включит их в свою великорусскую речь, образовав ту или иную степень смешения;

г) самые отличия письменного языка от устного, поскольку дело идет об орфографии, не таковы, чтобы привлекать к себе внимание ребенка; если книга хороша, она понятна и на слух, стало быть для *понимания* книги ребенку совершенно незачем вглядываться в орфографические трудности; а между тем стремление понять собеседника есть один из важнейших стимулов при усвоении языка практическим путем.

2) Усваивая родной язык, ребенок никогда не усваивает его в точно таком же виде, в каком ему его передают окружающие взрослые. При каждой смене поколений происходят *сдвиги* языка, и это и есть главная причина изменчивости языка вообще. Если же в жизни литературного наречия эти сдвиги и эта изменчивость сравнительно ничтожны, то причиной тут все те же *грамматические сведения*, распространение которых в образованных слоях есть неизменный спутник литературного наречия. Таким образом, если мы хотим добиться не только усвоения, но и усвоения в *неизмененном* виде (а это для орфографии условие sine qua non), то нам не только для письменного, но и для устного языка рано или поздно придется ввести в школах обучение грамматике. Говорю «рано или поздно», потому что на известный период времени народ может игнорировать культуру языка, живя, так сказать, прежним грамматическим добром; но когда его литературный язык придет от этого в полное расстройство, он принужден будет вернуться к грамматике.

3) те факты образования подсознательных грамматико-орфографических ассоциаций, на которые указывалось выше, не могут быть обобщены. Они объясняются всегда или сравнительной прозрачностью данного грамматического явления, или огромностью практики (писцы), а по большей части соединением того и другого. Таких слов, как «логово», «зарево» в языке десятки, а прилагательных—тысячи. «Гóрода», «зуба» резко отличаются от «город», «зуб» и фонетически и синтаксически, и вот это совпадение двух отличий помогает укорениться подсознательной ассоциации; но стоит только этому совпадению исчезнуть, как появляются ошибки: «у меня много дел*о*», «важное дел*а*» (или даже «важн*ая* дел*а*») и т. д. Как на пример особенно трудных в орфографии случаев, можно указать здесь на предложные сочетания: «в деревне», «к деревне», «у деревни» и т. д. Они интересны тем, что значение флексии сущ-ного здесь очень бледно, так как оно при предлоге почти излишне. И действительно, мы видим в народных говорах здесь сдвиги: «у сестр*е*», «к сестр*ы*», «с рукам», «с ногам» и т. д. Таким образом, мы здесь имеем наглядный пример того, как средний человек, усваивая даже родной живой устный язык, путает падежи. Можно ли ожидать, чтобы средний ребенок (орфографические гении не в счет) при

усвоении мертвой «тени» языка—орфографии, не перепутал их? Столь же огромную трудность составляет в нашей орфографии различение глагольных *-тся* и *-ться*. Я имею в своем распоряжении фактические доказательства того, что не только у канцелярских писцов, но и у людей с университетским дипломом и с учеными степенями, вплоть до доктора языковедения или доктора славянской филологии включительно, при малейшем ослаблении внимания, легком нездоровьи и т. д. проскальзывают подобного рода ошибки. Это показывает, что даже подкрепив свои подсознательные ассоциации пожизненной грамматической работой, тут нужно быть всё же всегда «на-чеку» (срвн. еще различение «тоже» и «то же», «также» и «так же», «чтобы» и «что бы», столь затрудняющее всегда грамматических недоучек).

Окончательный мой вывод: полная необходимость обучения грамматике при обучении правописанию.

Вопрос о „вопросах“.

I.

В 1914 г. в своей «Школьной и научной грамматике» я пытался доказать, что так называемые «вопросы» при правильной постановке дела обучения должны быть совершенно изгнаны из морфологии и оставлены только в синтаксисе для определения отношений между словами и предложениями. В настоящее время, после многолетнего обдумывания, я пришел к выводу, что и в синтаксисе они совершенно излишни. В то же время частый опыт бесед с учителями и ведение с ними специальных методических семинариев убедили меня, что «вопросы» являются *главным препятствием* к распространению здравых воззрений на преподавание грамматики. Роль эту играют они, конечно, не сами по себе как методическое средство, а исключительно потому, что учителя, в большинстве своем, пользуются ими *не сознательно*, не отдавая себе отчета в том, что такое собственно «вопросы» по отношению к самой грамматической науке. В спорах с приверженцами старины на каждом шагу натыкался я на возражения, *аргументировавшие* «вопросами», как чем-то ведущим к истине. И в конце концов всегда оказывалось, что у спорщика, кроме этих «вопросов» (т. е. в сущности, кроме *средства* доводить грамматические истины до понимания учащихся), ничего за душою нет, что никакой *науки* он позади их не видит, потому что они сами превратились для него в *своего рода науку*. Они оказывались тем пробковым поясом, на котором учитель смело (и даже иногда задорно) плавает по поверхности языка, не умея ни плавать, ни тем менее нырять в его глубины (что с поясом и невозможно). И это учитель плавания! Все это привело меня к убеждению, что совершенно независимо от той пользы или вреда, какие они приносят с собой в качестве учебного средства, «вопросы» при современном, крайне низком уровне грамматической подготовки учителя и впредь до хоть сколько-нибудь заметного повышения этого уровня, должны быть *совершенно удалены из учебников и из школы*. Не боясь впасть в преувеличение, я утверждаю, что в современной школьной практике «вопросы» — это *могила*

понимания, это *дурман,* одинаково наводящий тяжелый и безумный сон и на учителя и на учеников, — сон, именуемый в школе «грамматикой».

Но что же такое эти злополучные «вопросы»? Проанализировать их сущность как учебного средства, их относительную полезность и вредность (разумеется, при отсутствии современного суеверного отношения к ним, из-за которого они являются пока что, как уже сказано, *абсолютно вредными*) и составляет задачу настоящей статьи.

Но прежде чем перейти к этому анализу, условимся, что мы будем считать «вопросами». Опять-таки семинарский опыт убедил меня, что учителя нередко смешивают свои грамматические «вопросы» с *наводящими* вопросами и переносят на первые тот почет и уважение, которые вполне заслуженно принадлежат вторым. Представьте себе, что ученик прочел фразу с неверным логическим ударением (положим: «лисица *видит* сыр — лисицу сыр пленил»). Учитель, не желая подсказывать ученику ударение, спрашивает: «Что тут важнее, то, что лисица что-то увидела, или *что* она увидела?» Или, положим, во фразе: «Я люблю сестру больше всех», учитель хочет проверить, как понимает эту фразу ученик (предполагая, что контекст требует одного определенного понимания), и вот он задает ученику вопрос: «Что тут хотел сказать автор, что никто не любил так сестру, как он, или что он никого не любил так, как сестру?» Что это, «вопросы» или не «вопросы»? Конечно, нет, в том узком, техническом значении, какое мы будем придавать этому слову в этой статье. Равным образом и все вопросы при развитии речи (требующие, в отличие от грамматических, обычно как раз распространенного ответа, иногда даже целого рассказа), конечно, сюда не относятся. Под «вопросами» мы будем понимать здесь только те вопросы, которые ученик под руководством и по указке учителя *задает сам себе, чтобы усвоить определенные грамматические образцы, и уметь посильно разбираться в вопросах языка и правописания.* Взятые в этом специальном смысле, «вопросы» обладают следующими свойствами:

1) Они представляют *механическое* средство распознавания грамматических рубрик. «Натасканный» на «вопросы» ученик *не думает* во время разбора ни об окончании, создающем самую форму, ни о значении этого окончания по сравнению с другими окончаниями или с тем же окончанием, но в другой связи, словом, не думает о том, что изучает, о *форме.* Да и думать-то ему незачем и не о чем. Задача его совсем не мыслительного свойства: ему надо совершенно непонятным для него самого путем самоспрашивания подвести данное слово под одну из ранее усвоенных, тоже непонятных, рубрик. Вот и всё. Известно, что у счетоводов существуют специальные множительные таблицы, с помощью которых можно механически узна-

вать произведение даже трехзначных и четырехзначных чисел. Вот такими-то множительными таблицами и являются «вопросы» для учеников, а в огромном большинстве случаев и для учителя. Но счетовод знает хоть, по крайней мере, тот принцип, по которому составлены таблицы, знает само умножение, школьная же «грамматика» и этого не знает.

2) «Вопросы», к сожалению, не имеют той механической *внешности*, какую имеют множительные таблицы. Применение «вопросов» создает иллюзию, что ученик о чем-то *думает*, какую-то задачу *решает*. Между тем, если всмотреться непредубежденным взглядом в тот *способ*, который избирается для решения, то он представляется поистине изумительным. Во всех других областях знания мы или додумываемся сами до решения того или иного вопроса путем определенной работы мысли, или, когда не хотим, или не можем сами решить, спрашиваем у людей знающих. Только в одной школьной «грамматике» мы должны *спрашивать самих себя* и из своих собственных недр каким-то чудодейственным способом получать ответ (так, по крайней мере, при современной постановке дела должно представляться ученику, а часто и учителю). Ближе всего это походит на обращение с вопросом к гадалке, хироманту и другим подобным лицам, но всё же надо признать последний способ логически гораздо более обоснованным: можно допустить, что отдельные люди обладают интуитивной способностью проникновения в тайную связь всех мировых явлений, в их целости, но предположить, чтобы каждый человек и даже каждый ребенок обладал такой способностью, и притом без всякого психического напряжения с своей стороны—прямо невозможно. Кратко говоря, между тем, что нужно узнать (как ни туманно это обычно представляется ученику), и самым способом узнавания нет *ни малейшей разумной связи*, и в этом отношении «вопросы» наносят огромнейший вред общему развитию исследовательских способностей ребенка. Даже если всё сводить к одному правописанию, получается абсурд: когда не знаешь, как пишется слово, надо не учителя спрашивать, который это знает, *а самого себя*, и превратиться непонятным образом из незнающего в знающего. Таким образом «вопросы», продолжая наше основное сравнение, не простые множительные таблицы, а таблицы с тайными каббалистическими рисунками на полях, и «верующие» убеждены, что только с помощью этих рисунков и оправдывается сделанное по таблице умножение.

3) Но что же такое, наконец, эти вопросы, что дало им власть «вязать и решить», какова их языковая сущность, помогшая им превратиться в трафареты грамматического распознавания? Ответ необычайно прост: «вопросы» *есть один из видов грамматического экспериментирования, в частности, один из видов подстановки в словосочетания одних слов на место других*. Так как подстановка эта в морфологии и син-

таксисе делается с совершенно разными целями и приводит к совершенно разным результатам, то нам необходимо здесь рассмотреть то и другое отдельно.

А) «Вопросы» в морфологии. Некоторые формы, как известно, *многозначны.* Так, форма «стол» имеет сама по себе 2 совершенно различных значения (именит. и винит. падежа), форма «скамье» тоже имеет 2 значения (дат. и предл. падежа), форма «кровати» — 5 значений (род. дат. и предл. ед. ч. и им. и вин. множ.) и т. д. Но, разумеется, в *связной* речи значение всегда одно. В связной речи «стол» будет непременно или им. или вин., «скамье» непременно или дат. или предл. и т. д. Как же мы узнаем (или вернее «сознаем») в связной речи значение такой многозначной формы? Путем подсознательной *ассоциации* всего сочетания с аналогичным сочетанием, где на месте многозначной формы имеется уже легко распознаваемая *однозначная.* Так, в сочетании «там стоит стол», им. пад. сознается по ассоциации сочетанием «там стоит скамья», а в сочетании «я вижу стол» — вин. п. — по ассоциации с сочет. «я вижу скамью». Наоборот, в сочет. «он подошел к скамье» дат. п. сознается по ассоциации с «он подошел к столу», а в сочет. «он сидит на скамье» пред. п. по ассоциации с сочет, «он сидит на столе» и т. д. Таков естественный процесс речи. Ясно, что при анализе уже сказанной речи нам остается только *сознательно* производить все эти подстановки — и падежное значение (не само по себе, конечно, а только в соотношении с другими падежными значениями) определится. Но выбирать всякий раз подходящее по смыслу слово и притом такое, которое имело бы уже несомненное однопадежное окончание (ведь можно было бы вместо« стол» подставить «кровать», и эксперимент не удался бы), для школьной практике было слишком громоздко. К тому же этот путь узнавания падежа требовал все-таки знания хотя бы тех-то форм, которые имеют одно определенное значение, т.-е. например, для различения 2-х значений формы «стол» только при помощи «скамья» и «скамью», очевидно надо уже знать заранее, что «скамья» им. пад. (даже, если не понимать смысла этого термина), потому что оканчивается на *а* (я), а «скамью» вин., потому что оканчивается на *у* (ю). Но и это было бы совершенно не в духе школьной практики, стремившейся не к *знаниям,* а исключительно к *навыкам.* И вот создалась традиция во *всех решительно сочетаниях языка* подставлять всегда только два слова: «кто» и «что», притом взятые вместе (о причине этого последнего приема см. дальше). Сами же слова «кто» и «что», конечно, *заучиваются* в их склонений, т.-е. заучивается, что «кто — что» — имен. пад., «кого — чего» — род. и т. д. (к сожалению и это в завуалированном виде, так что ученик и не подозревает, что он определяет все падежи по выученному склонению слов «кто» и «что»). И надо сказать что выбор этих 2-х слов для подстановки сделан изумительно,

неудачно. *Худших слов* нельзя было и придумать для этой цели, и мы надеемся это здесь неопровержимо доказать. В самом деле:

а) Слова «кто» и «что» *недостаточны по своим формам*, так как у них многих форм *не хватает* (а ведь подстановка рассчитана на то, что у подставного слова есть та форма, которой не хватает рассматриваемому слову). Так, у слова, «кто» форма «кого», служит одновременно для двух значений (род. и вин.), у слова «что»—сама форма «что» тоже для 2-х значений (им. и вин.). Это и создало совершенно неестественную двойную форму «вопросов» («кого—что вижу?» и т. д.), чтобы хоть этим варварским, по отношению к развитию речи, средством сделать возможным узнавание падежа (но научиться так неестественно спрашивать—значит понять синтактическую природу падежа, и вопрос приходит и тут, в сущности, *после* узнания, а не *для* узнания, см. дальше рубрику Б). Далее, у них у *обоих* нет формы *местного* падежа («в лесу», «в пылú», в отличие от «о лесе», «о пы́ли»), правда, в школьной «грамматике» вообще не различаемого. Далее, что важнее всего, у них нет *всего множественного числа*, так что определить *число* этой подстановкой невозможно. Если мы в сочетании «там стоят кровати» подставим слова «стол», «скамья», «буфет» и т. д., то определится сразу и падеж и число («стоят столы» и т. д.). Слов же «кто» и «что», в сущности, сюда и вставить нельзя (мы не говорим «кто там стоят?», хотя школьная практика не останавливается и перед таким уродованием языка). Конечно, число (как и падеж) можно определить часто и другими путями (по согласуемому глаголу, как в данном случае, по согласуемому прилагательному), но, во всяком случае, благодаря неудачному выбору подставных слов одним средством распознавания оказывается меньше.

б) Слова «кто» и «что» *исключительны по своим падежным окончаниям*. Других существительных с такими окончаниями в русском языке нет. Таким образом, ученик, вместо того, чтобы выучить хоть одно русское склонение, выучивает и знает *только исключения*. Это похоже на китайца, который, отправляясь путешествовать в Европу, выучил бы только огнеземельский язык. И хуже всего то, что когда ученик склоняет: «кого—чего? стола», «кому—чему? столу» и т. д., то в центре его внимания уже навеки утверждены эти «кого—чего» и т. д., так что остальных склонений он никогда не замечает.

в) Слова «кто» и «что» *отнюдь не так универсальны по значению*, как это можно было бы заключить из их универсальной роли в школьной практике. Можно спросить: «что думаю?» «что пишу?» «что пью?» «что рассказываю?» и т. д., но нельзя или почти нельзя спросить: «кого думаю?» «кого пишу?» «кого пью?» «кого рассказываю?» и т. д. Наоборот, можно спросить: «кого щекочу?» «кого холю?» «кого кормлю?» «кого дою?», но нельзя спросить: «что щекочу?» «что холю?»

и т. д. Таким образом, та бессмыслица, которую мы получили бы, если бы везде для отличения имен. от винит. пользовались, положим, словом «скамья», а для различения дат. от предлож. словом «стол», остается и здесь, и единственной выгоды, которой мы могли ожидать от трафаретной подстановки, не оказывается. Правда, школа спрашивает: «кого — что щекочу?», где первый член пары оказывается у места, но сама пара-то уже слишком бессмысленна.

г) Значения падежных форм таковы, что допускают, а иногда и *требуют других вопросительных слов* в речи. Нельзя спросить: «он был *в чем*?» и ответить — «в деревне», «*из чего* он вышел»? «из дому», «*кого* ручку ты взял? «сестры» и т. д. Тут перед учителем 2 пути: или приучать ученика спрашивать *грамматически*, но для того, чтобы *так* спросить надо уже заранее понять падеж, а тогда и «спрашивать» не нужно (кроме того, это страшно уродует речь); или спрашивать обычно, по-русски, но тогда падежа по вопросу не узнаешь: на вопрос «куда?», например, может отвечать и дат., и вин. «к реке и в реку», на вопрос «где» и пред., и твор., и род. «в деревне», «за деревней», «у деревни». При различении род. и вин. п. п. сюда присоединяется еще *диалектическая* близость род. и вин. и близость значения так наз. род-ого *разделительного* с вин. Дети часто говорят «видел чего?» «слышал чего?», беря эти сочетания из народной речи. При глаголах «бояться», «избегать» и т. д. или «добиваться, «достигать» и т. д. и интеллигент в настоящее время путает род. и вин. (процесс вытеснения родительного винительным), а при глаголах «искать», «ждать», «просить» и нек. др. в литер. наречии живет еще древняя *двойственность* оборота в связи с двойственностью значения. Можно сказать: «ищу уголка» и «ищу уголок», «жду звонка» и «жду звонок» (род. означает неопределенный предмет, а вин. — определенный, известный). Имена вещественные (или употребленные в вещественном смысле) уже при каждом глаголе могут стоять в обеих формах: «даю хлеба», «даю хлеб», «беру хлеб» и «беру хлеба» и т. д. Ясно, что для того, чтобы правильно задать «вопрос», тут надо уже *предварительно* осознать падеж. В некоторых случаях это важно и для правописания (напр.: «ищу место» и «ищу места», смотря по контексту», надо писать то так, то этак), и «вопросы» опять-таки бессильны. Таким образом, если бы всюду подставлять вместо «кто» и «что» — «стол» и «скамья», подставляющиеся во все *предложные сочетания* (хотя я лично вообще против такой механизации подстановок и предпочитаю объединение грамматических наблюдений с упражнениями в развитии речи), различение падежей выиграло бы. Именно, эта сторона слов «кто» и «что» не дает школьной грамматике, при всём ее рабском подчинении целям правописания, выучить ученика правописанию падежных флексий, так как многие флексии *вместе с самими падежами*

систематически ускользают от наблюдения благодаря вопросам «чей», «куда», «где» и т. д.

д) С этим минусом тесно связан и другой, несколько менее важный. Вопросы в каждом языке имеют *свою фразеологию*, понаблюдать которую было бы не безынтересно. Интересно, напр., отметить, что у нас спрашивают: «как зовут?» а не «кем зовут?» (впрочем, кажется, можно и «кем?», но только в таких случаях, как «мошенником», «мастером», «мудрецом», а не в таких, как «Иваном», «Петром» и т. д.), что у нас спрашивают только «чей дом?», а по-немецки только «кого дом?» (wessen Haus), что мы спрашиваем «что ползет по стене?», хотя и видим насекомое, и вообще вопрос «кто» применяем преимущественно (если не исключительно) к *людям* (скорее спросим, увидев вздутую губу: «что это тебя укусило?», чем «кто это тебя укусил?»), что «в чем он сегодня был?» обозначает чаще всего *одежду*, а «где был?» — место и т. д. Словом, вопросы это факты языка, могущие изучаться и наблюдаться как всякие другие. И вот трафаретная судьба вопросов делает их самих как бы изъятыми из наблюдения. Кроме того, превратившись в учебное средство, вопросы, как факты языка, неизбежно схематизируются, мертвеют, и речь ученика в этом пункте *неправильно развивается:* ученик приучается спрашивать *грамматически*, напр., «кто» про «одушевленные» предметы, а «что» про «неодушевленные»; «кем зовут», вместо «как зовут» (иначе выйдет обстоят. обр. д.) и т. д.

е) Метод «вопросов» *не дает возможности определить формы самих вопросительных слов*, и это касается уж не одних падежных вопросов, но и всех других, и одинаково не только морфологии, но и синтаксиса. Если подлежащее определяется как слово, отвечающее на вопрос «кто—что», то в сочетании «кто идет?» *подлежащего нет*, потому что слова, отвечающего на вопрос «кто», нет. А между тем это предложение не безличное. Если слова, отвечающие на вопрос «куда?» — «обстоятельства места», то что такое будет само «куда?» в сочетании «куда идешь?» и т. д.

ж) При подстановке *всякого* другого слова ученик сознавал бы, что он делает, именно знал бы, что он *подставляет* одно слово вместо другого. При подстановке же *вопросительных* слов, он *спрашивает*, и тут-то и получается для него то вредное колдовство, о котором сказано уже в п. 2-м. Мысль и наблюдение уводятся *на совершенно ложную дорогу*. Поэтому не только «кто» и «что», но и всякое вопросительное слово следует считать наименее удачным объектом для подстановок. Даже такой, например, аналогичный трафаретный прием школьной практики, как распознавание рода существительных при помощи слов «мой», «моя», «мое» неизмеримо выше в этом отношении. Тут, как-никак, ученик остается в сфере наблюдений над языком, а «вопросами» он из нее выбрасывается.

Всего сказанного, я полагаю, достаточно, чтобы убедиться, что подстановка вопросов есть самый неудачный эксперимент в мире, что это—«покушение с негодными средствами» и ничего более. Возвращаясь к сравнению «вопросов» с множительными таблицами, мы должны признать, что это—таблицы *с наполовину перепутанными цифрами.*

Б. «Вопросы» в синтаксисе. Так как синтаксический анализ для меня *формальный* (что отнюдь, конечно, не обозначает полного *бессмыслия,* как некоторые это понимают), то определение членов предложения совпадает у меня с определением отдельных синтаксических форм, и здесь для вопросов нет никакой новой поживы. Но «вопросы» употребляются еще, как известно, и при определении *отношений* членов друг к другу и целых предложений друг к другу. Например, в предложении «я еду в деревню» спрашивают: «я что делаю?» (тоже довольно нелепый вопрос, если взглянуть глазами *жизни,* от которой школьная «грамматика», к сожалению, давно отгородилась сорока замками и сорока печатями) и по ответу «еду» определяют, что «еду» относится к «я»; далее спрашивают «куда еду» (конечно, не «во что») и по ответу определяют, что «в деревню» относится к «еду» (я не касаюсь здесь того, «дополнение» это или «обстоятельство», а беру только самую зависимость). Спрашивается, на чем основана такая практика, и насколько целесообразна она? Конечно, это тоже подстановка, но с совершенно другими целями, для использования совершенно других свойств вопросительных слов. Дело в том, что, когда в вопросе всего 2 слова, вопросительное и невопросительное («кто идет?», который час?», «где звонят?» и т. д.), то, конечно, *вопросительное* почти всегда относится к *невопросительному* (или, реже, обратно). Ведь больше ему и относиться тут не к чему (кроме случаев эллипсиса, см. дальше). Таким образом, вместо длинной подчас фразы мы имеем всего *два слова,* и отношение определяется очень легко. А затем оно переносится и на то слово, под которое подставлено вопросительное слово. Но тут опять беда: к чему приставить вопросительное слово? Я могу спросить: «я куда?» «в деревню» и: «еду куда?» «в деревню». В первом случае отношение (для данной фразы) будет определено неверно, во второй верно. А как же узнать, как задать вопрос? Для этого надо предварительно *понять отношение.* Что это действительно так, неопровержимо доказывается случаями *двойственных* отношений и случаями *пропуска слов,* к которым что-нибудь относится. Так, в сочет. «я видел березу у оврага», смотря по контексту, может быть двоякая связь: или «видел у оврага» или «березу у оврага» (если эта береза уже известна под именем «березы у оврага»). Помогут ли здесь «вопросы»? Нет, потому что самый «вопрос» *зависит от понимания:* в первом случае мы спросим: «где видел?», во втором: «какую березу?». Точно так же в сочет. «погода была прелестная» можно понимать «была прелестная» как

«составное сказуемое»; а можно понимать и одно «была» как сказуемое, а «прелестная» как простое *определение* к подлежащему, переставленное эмфатически на конец фразы (подробнее смотри об этом случае «Русск. синт.»). Это не фокус, а две реальных психологических схемы, связанных и с внешними признаками (ритм и интонация). Но помогут ли здесь «вопросы»? Тоже нет, потому что разница между «погода какая?» и «была какая?» *совершенно та же*, что и между «погода прелестная» и «была прелестная». Кто не поймет одной, не поймет и другой, кто же поймет и выберет *одно* из пониманий, тот соответственно выберет и один из вопросов. С другой стороны, при эллипсисе «вопросы» тоже приходят с опозданием. В сочетании «Молчалин на лошадь садился: ногу в стремя, а лошадь на дыбы»... мы прекрасно знаем, что «в стремя» зависит не от «ногу», а от опущенного глагола (что-нибудь в роде: «всунул», «вдел», «вставил» и т. д., но, конечно, ничего определенного). Но как мы это узнаём? По вопросу? Нет, вопрос тут возможен только один: «ногу *куда*?» и ответ: «в стремя». Всё дело в том, что и в «ногу куда» и в «ногу в стремя» *один и тот же выпуск*. Кто способен понять его в «ногу куда?», тот поймет его и в «ногу в стремя» и для него вопрос не нужен. А кто не поймет тут, тот не поймет и там. Таким образом, «вопросы» в синтаксисе это уже не множительная таблица, как-никак что-то дающая. Это только *тургеневский дядя Хвост*, всем и всегда необходимый, потому что он умеет сказать свое веское «да» после того, как все его сказали.

Анализ мой кончен. И я слышу многоголосый отчаянный вопль пловцов, теряющих плавательные пояса: «но как же, как же без «вопросов»? Что же вы, г. критик, даете на место этого старого, испытанного способа? Вы разрушаете, ничего не созидая, вырываете *единственную* методическую почву «из-под ног» и т. д. и т. д. На всё это я ответил бы совершенно откровенно следующее:

Грамматика для школы—наука совершенно новая, никогда в ней *не преподававшаяся*. Методики этой науки, конечно, еще не существует. При таких условиях требовать от одного человека и даже от *одного поколения* создать всю методику—безумно. Сейчас происходит оживленнейшая работа педагогической мысли в этом направлении. Несколько учебников уже вышло, несколько авторов сидит над учебниками. Старые учебники выходят в сильно подрумяненном и подкрашенном под новый стиль виде. Движение растет. В следующей главе я рассчитываю внести и свою лепту в эту работу, специально на тему о том, *что* могло бы заменить «вопросы». Но ни в каком случае не следует выставлять *новые* трафареты на место уходящих, надо надеяться, в вечность «вопросов». Ведь весь смысл движения и заключается в освобождении от трафаретов, в обращении к живому наблюдению над языком! Правда, для этого надо хоть

немного быть знакомым с той *наукой*, которую преподаешь. Но не странно ли, что об этом надо напоминать? Не с этого ли следовало бы начать? И не этим ли исключительным незнакомством с предметом и объясняется та рабская зависимость, в какую попадает учитель грамматики по отношению к методу и вопросов»? Почему в математике, в географии, в литературе, во всех остальных науках нет такой зависимости от одного определенного метода? Мыслима ли там такая зависимость и такая беспомощность при смене метода? Нет, потому что учитель там знает, *что́ преподает.*

Чем больше будет учитель грамматики знакомиться со своей наукой (не по школьным учебникам, конечно), *тем ближе он будет к освобождению из-под ига вопросов.*

II.

В предыдущей главе я поставил вопрос о том, чем могли бы быть заменены «вопросы» в реформированном курсе грамматики. Так как в настоящее время «вопросы» служат для двух совершенно различных целей: 1) для обнаружения и распознавания грамматических категорий и 2) для заучивания результатов этого обнаружения (образцы склонений), то и замена эта может быть предположена в двух направлениях, и вопрос должен быть рассмотрен с двух сторон.

Что касается первой функции «вопросов» в современной школе, то анализ этой функции в предыдущей статье легко и быстро приводит к определенному и единственно возможному способу замены. Если «вопросы», как это я считаю уже доказанным, есть *неудачный* вид экспериментирования, в частности, неудачный вид подстановки различных форм в одни и те же словосочетания, то, очевидно, они должны быть заменены *удачным* экспериментированием, в частности, удачной подстановкой. Самые виды экспериментов могут быть чрезвычайно разнообразны, и исчерпать все их в журнальной статье нет ни малейшей возможности. Поэтому я ограничусь несколькими примерами. Положим, что ученику не ясна грамматическая разница выражений: «телеги *столкнутся*» и «телеги могут *столкнуться*». Учитель заставляет *проспрягать* оба выражения целиком: «я столкнусь», «ты столкнешься» «телега столкнется» и т. д. и: «я могу столкнуться», «ты можешь столкнуться» «телега может столкнуться» и т. д. При сопоставлении этих 2-х рядов обнаружится, что первое «столкнутся» *изменяется* в зависимости от перемены подлежащего, т.-е. *согласуется* с ним, а второе не изменяется, т.-е. не согласуется. Этим разница между сказуемым и примыкающим словом (или, что то же, между спрягаемой формой и инфинитивом), изученная ранее на образцах разнозвучных («придут — прийти»,

«напишут — написать» и т. д.) будет раскрыта и здесь. Того же результата можно было бы добиться и удачной подстановкой («телеги разобьются» и «телеги могут разбиться»). Другой пример. Положим, требуется показать, что в сочетании «жили-были дед да баба» сказуемое не согласовано в числе ни с одним из подлежащих, а согласовано «по совокупности», т. е. что два подлежащих единственного числа трактуются здесь, как одно, стоящее во множественном числе. Эксперимент необычайно прост. Фраза разбивается на две: «жили-были дед» и «жили-были баба», и ученик видит, что ни так, ни этак сказать нельзя, и что, следовательно, только соединение подлежащих вызвало здесь форму множественного числа в сказуемом (кстати «вопросы» тут были бы бессильны, так как они были бы одинаковы и в «жили-были дед да баба» и в «жил-был дед да баба»). Еще пример. Положим, требуется определить, обычное ли прилагательное имеется в сочетании «управляющий пришел», или это — прилагательное в роли существительного. Экспериментируем так: «управляющий человек пришел» и: «наш управляющий пришел», «здешний управляющий пришел», «честный управляющий пришел» и т. д. Ученик видит, что существительное к этому слову приставить неудобно, а прилагательное можно приставить любое, откуда вывод ясен. Из приведенных примеров видно, что самый вид эксперимента обусловливается всякий раз сущностью того явления, которое надо раскрыть, и общего рецепта дать нельзя. Тяга к рецепту, столь остро сказывающаяся сейчас на всевозможных учительских совещаниях, объясняется, конечно, только крушением старых рецептов и застарелой привычкой преподавать грамматику по рецепту, не зная предмета и не думая о нем. Словесник уподобляется при этом такому фантастическому математику, который требовал бы от задачника не только цифровых ответов на задачи, но и точного плана решения каждой задачи. Само собой разумеется, что способ решения каждой отдельной задачи (если только она не резко типического свойства, изученного заранее) вытекает из условий самой задачи, и без некоторой сообразительности и учащего, и учащегося тут не обойтись. С другой стороны, настолько же ясно, что ход объяснения всегда будет зависеть от способа решения. Не какого-то особого повышенного творчества требует от учителя новый метод преподавания грамматики (как нередко сетуют на это учителя), а просто той элементарной сообразительности, которая требовалась до сих пор во всяком учебном предмете и начисто отсутствовала только в грамматике. Поэтому итти дальше тех *примерных* иллюстраций грамматического экспериментирования, которое дано выше, с тем, чтобы перечислить их все, не только не желательно, но, пожалуй, даже и невозможно. И я ограничусь здесь только еще двумя словами о наиболее частом виде эксперимента, — о подстановке. Подстановка может быть двух видов:

1) грамматическая и 2) семасиологическая. Начну со второй, как более простой, хотя она лишь частично может пригодиться в грамматике, и главным образом должна практиковаться при классном чтении. Всякому ясно, что значение слова «бедный» в сочетании: «Тут бедный Фока мой, как ни любил уху, но от беды такой» и т. д. наиболее легко иллюстрируется подстановкой, с одной стороны, таких слов, как: «несчастный», «жалкий», «страдающий», «замученный», а, с другой стороны, таких, как: «небогатый», «нищий», «малоимущий», «незажиточный» и т. д. Точно так же ясно, что разница в слове «рассеянный» между: «этот ученик рассеян» и «на свете чудеса рассеяны повсюду» вполне уясняется из подстановок: «этот ученик *невнимателен*» и «на свете чудеса *рассыпаны* повсюду» и т. д. Изучение *синонимов*, которое должно стать постоянным и систематическим спутником классного чтения, должно покоиться именно на таких подстановках, которые одновременно и уясняют текст и развивают речь ученика (конечно, все подстановки производятся классным коллективом). Но уже второй из приведенных примеров показывает, как семасиология может здесь сплетаться с грамматикой, «рассеянный» в одном случае является прилагательным, а в другом — причастием. Подобным же образом раскрытие связочного смысла глагола требует обычно семасиологических подстановок: разница между «он был добрый» и «он был дома» лучше всего выясняется на подстановке: «он находился дома» и на невозможности подстановки: «он находился добрый», разница между «он станет умным» и «он станет на ноги» — на подстановке: «он сделается умным» и на невозможности подстановки: «он сделается на ноги», и т. д. (хотя, конечно, *кроме* подстановки, возможны и желательны и другие виды эксперимента, например, прибавление творительного падежа при причастии: «на свете чудеса *судьбой* рассеяны повсюду», ритмические эксперименты в сочетаниях «он был добрый» и «он был дома» с усечением фразы на слове «был» и т. д.). Подстановка слова «лисы» вместо слова «осла» в сочетание «ум и характер осла» по существу ничем от этих семасиологических подстановок не отличается, так как «лисы» и «осла» в этом случае не что иное, как *грамматические синонимы*. И делается эта подстановка с совершенно той же целью, что и предыдущие: чтобы пояснить неизвестное известным, неопределенное определенным (предполагаю, что «лисы» ранее изучено всесторонне на контексте). Но так как грамматика есть область *общих* значений языка, так как здесь нам важна только флексия *ы* и значение род. падежа, а тем и другим обладает огромное количество слов, то здесь выбор для подстановки неизмеримо богаче: вместо «лисы» можно подставить «воды», «спины» и т. д. И вот тут-то и возникает чрезвычайно важный методический вопрос: следует ли, отказавшись от одного шаблона («кто — что»), избрать другие, более целе-

сообразные и педагогичные, или следует *совсем* отказаться от шаблонных подстановок и подставлять всякий раз то, что подсказывает семасиологическая сторона контекста. По общепедагогическим соображениям я решительно высказываюсь за последнее. *Всякая* шаблонная подстановка будет в $^9/_{10}$ случаев нелепостью и будет отвлекать своей смешной стороной от сути дела («ум и характер спины», «ум и характер воды» и т. д.). В тех случаях, когда она не будет явной нелепостью, а будет лишь тяжеловесным, малоупотребляемым сочетанием, она будет портить речь ученика. Своей механичностью она скоро заставит его забыть про сущность самого приема и превратится в тот вредный фокус, которым являются ныне «вопросы». Напротив, индивидуальная подстановка чрезвычайно благотворно отразится на развитии речи ребенка. Она и расширит и укрепит его словарь, и усилит общую дифференциацию его речевых представлений. Задачи грамматические и задачи развития речи сольются на этих занятиях в одно стройное целое. К тому же не надо забывать, что избирая *целесообразные* с грамматической точки зрения шаблоны, мы неизбежно должны будем избрать их несколько, а не один. Так, для различения двух значений в форме «осла» необходим шаблон «лисы — лису», для различения двух значений в форме «стол» необходим шаблон «лиса — лису», для различения двух значений в форме «лисе» необходим шаблон «ослу» и «об осле», для различения пяти значений в форме «кровати» необходим комбинированный шаблон: «лисы — ослу — об осле — ослы — лису» и т. д. Таким образом той благословенной простоты, которой отличались пресловутые «кто — что», мы все-таки не получим, а речь ученика будем портить.

Но ведь индивидуальная подстановка требует много времени, — возразят мне, — и ученик может так и не получить навыка *быстро* распознавать формы, а этот навык ему для многого необходим. Это приводит нас ко второй функции «вопросов», как заместителей форм в таблице склонения.

Что механичность вредна при творческом наблюдении над языком и при истолковании индивидуальной стороны текста — ясно из самых понятий творчества и индивидуальности. Ни та, ни другая с механичностью не мирятся. Но из этого еще не следует, чтобы механичность была *всегда* вредна и всегда ненужна. Сравнение с математикой опять-таки покажет нам, что в иных случаях известная доза механичности технически необходима. В самом деле, можно ли было бы не заучивать таблицы умножения, а производить всякий раз вместо умножения сложение? Можно ли было бы не заучивать правил деления целого числа на дробь или дроби на дробь, а припоминать всякий раз смысл этого двойного действия и производить его сознательно-расчлененно? Не обозначало ли бы это колоссальную потерю времени? Напротив, мы видим, что в мате-

матике, по самой сути дела, всякий шаг вперед основан на механизации предыдущего. Конечно, первоначальных сознательных источников механических операций забывать нельзя, к ним постоянно надо возвращаться и возвращать ученика, однако, сама механизация здесь явно необходима. То же, до некоторой степени, и в грамматике. Положим, что учитель хочет поговорить с классом о значении родительного падежа существительного, о различии родительного приименного и родительного приглагольного, о предлогах, требуюших родительного падежа, и т. д. Очевидно, что представление о самом родительном падеже должно быть уже чем-то установившимся в уме ученика к моменту объяснения; что объяснять, что такое родительный падеж, тут уже некогда. А так как родительный падеж есть не что иное как синтаксическое равенство нескольких, совершенно различных по звукам, форм («лисы — осла — лошади — лис — ослов — лошадей»), то, очевидно, эта шестерка, найденная исподволь раньше в процессе, быть может, месячного или двухмесячного наблюдения, должна быть в конце концов охвачена целиком и *закреплена памятью.* С другой стороны, и каждая отдельная надежная или личная форма должна быстро распознаваться учеником в ее элементарных соотношениях с другими формами. Положим, учитель хочет поговорить об особенностях формы на *у* в сочетаниях «кусочек сыру», «чашка чаю» и т. д. или об особенностях формы 2-го лица в сочетаниях «тише едешь, дальше будешь», «за чем пойдешь, то и найдешь», и т. д. Очевидно, *обычное* значение формы на *у* как дательного падежа существительного (уясняемое только по соотношению со всеми остальными падежами) или *обычное* значение 2-го лица (уясняемое только по соотношению с другими лицами) должно быть ясно ученику заранее. Как и в других науках, каждый шаг вперед здесь основан на точном и отчетливом знании предыдущего и на умении быстро выхватить памятью то, что в данный момент нужно. Самая подстановка, даже в том виде, как она намечена выше, именно как средство синтаксического распознавания однозвучных форм, требует предварительного знания *схемы* склонения и спряжения. Для того, чтобы подставлять в выражение «там стоит стол» попеременно «скамья» и «скамью», надо заранее знать, что форма «стол» только с этими двумя формами и соотносительна, а остальные («скамье, скамьи») тут не при чем, другими словами, надо знать, что «стол» есть именительно-винительный падеж. А это и значит знать схему склонения. Напомню читателю, что ведь и распознавание падежей по «вопросам» требовало заучивания и знания склонения слов «кто» и «что». Очевидно и теперь, как бы долго ни сидеть на наблюдениях над падежными и личными изменениями слов, придется в конце концов охватить памятью всю *систему* склонения и спряжения. А это значит заучить *таблицы* склонения и спряжения на определенных образцах.

Но тут я предвижу энергичнейшие возражения со стороны поклонников механизации в обучении грамматике. Они найдут, что у меня механизации получается уж слишком *много*. В самом деле, заучить две сложнейших таблицы! Это не то, что заучить какие-нибудь несчастные «кто—что»! К тому же и заучивание это грозит стать, несмотря на все предыдущие «наблюдения», еще более бессмысленным, чем заучивание «кто—что». Не надо упускать из виду, что косвенные падежи существительных отдельно *почти не употребляются*, что это формы, тесно спаянные со своим словесным окружением, что вырванные из него они — мертвецы. В этом отношении «кто-что» имеют даже некоторое преимущество, так как именно эти слова очень часто употребляются отдельно, и взятое отдельно «чего?» звучит неизмеримо жизненнее, чем взятое отдельно «стола». Таким образом, скажут мне, желая загнать механизацию в задний угол, я на самом деле сажаю ее на почетное место. Рассмотрим же, как можно было бы *уменьшить* степень механизации при заучивании таблиц, как можно бы было *облегчить* и *осмыслить* эту работу, не нанося ущерба конечному результату ее — точному и отчетливому запечатлению в памяти всей системы склонения и спряжения.

Прежде всего отметим, что *спряжение* и сейчас усваивается без «вопросов». Здесь решающими являются три фактора: 1) крайняя *бедность* системы русского спряжения, 2) полная *прозрачность* значений форм лица и времени глагола, 3) естественность принятого *порядка* форм лица и нумерационный способ их обозначения (т.-е. 1-е, 2-е, 3-е). Всё это делает то, что и заучивать тут собственно нечего. Прошедшее время наше, как не изменяющееся по лицам, усваивается *при* спряжении, как его побочный придаток, наравне с инфинитивом и деепричастием. А настоящее естественно располагается в памяти в порядке названий и в то же время, благодаря яркости значений лица, никогда не может утерять для ученика своего смыслового значения. Правда, школа наша, руководимая всё той же ненавистью к «грамматическим тонкостям», к «окончаниям», т.-е. к подлинной грамматике, и всё тем же стремлением к «облегчающей» ум ученика от всяких знаний механизации, умудрилась и тут затемнить дело, уча спрягать со словами «я», «ты» и «он» (эти слова играют в школьном спряжении совершенно ту же роль, что «вопросы» в склонении, роль средства *отвести* ученика от думанья и наблюдения). Но, в сущности, если с самого начала направить внимание ученика на совершенно живое, господствующее в речи его самого, употребление личных форм без подлежащего (ведь в его речи гораздо чаще звучит: «иду!», «идет!», «идем!» и т. д., чем «я иду», «он идет» и т. д.) и заставить его задуматься над смыслом этих различий, спряжение будет дано. Заучивать тут, повторяю, нечего. Не то в склонении. Склонение по всем

3-м выше перечисленным признакам диаметрально противоположно спряжению: 1) система русского склонения довольно сложна (хотя и проще, кстати сказать, чем системы латинская и греческая, которые в свое время заучивались без всяких «вопросов» безукоризненно), 2) значения падежей очень трудны и сложны, 3) порядок и терминология падежных форм совершенно условны. Все это делает заучивание таблицы склонения, даже как результата предшествующих наблюдений, действительно, делом довольно трудным. И не столько трудность опасна здесь (пример древних языков показывает, что она вполне преодолима), сколько риск забыть на этом процессе заучивания самую суть дела, утратить обратные пути от механического процесса к его сознательным первоисточникам (что, кстати сказать, так часто случается и в других предметах, например, в той же математике). Как же сохранить эти пути, как удержать ученика от бессмысленной зубрежки? Здесь я предлагаю, в качестве специфического *моста*, связывающего заучивание с первоначальными наблюдениями, метод *фразного* склонения на определенных, наиболее общих по значению фразах. Ученик, при таком методе, не сразу примется заучивать составленные им самим путем наблюдения парадигмы, а предварительно заучит их во фразах, которые я подбираю так

Им. пад.[1]) У меня есть...
Род. пад. У меня нет...
Дат. пад. Я иду к...
Вин. пад. Я вижу...
Твор. пад. Я интересуюсь...
Предл. пад. Я говорю о...

Фразы эти подобраны так, чтобы по возможности избежать бессмыслицы и, кажется, кроме слова «я», в них можно вставить без особого насилия над речью всякое существительное. Вот с помощью этих-то фраз ученик и должен склонять первое время открытые им ранее в связной речи образцы, пока они, в результате долгой практики, не отложатся в его уме и в изолированном виде (последнее я всё же считаю необходимой предельной степенью механизации). При этом он первоначально склоняет *все* образцы параллельно («у меня есть лиса, осел, ружье, лошадь», «у меня есть скамья, стол, кровать», «у меня нет лисы, осла, ружья, лошади, скамьи, стола, кровати», «я вижу лису, осла, ружье, лошадь, скамью, стол, кровать» и т. д.), ибо только при таком склонении и возможно понимание дела (ведь склоняя отдельно: «у меня есть стол» и «я вижу стол», ученику неясно будет, почему на эту форму составлены две отдельные фразы). Только когда такое *общее*

---

[1]) Порядок падежей, а отчасти и терминологию я слегка изменяю, но здесь, чтобы не отвлекать внимания читателя в сторону, оставляю всё общепринятое.

склонение усвоено и по фразам и, в конце концов, без фраз, можно перейти к склонению по отдельным столбцам, тоже сперва по фразам, а затем без фраз. При этом, склоняя по отдельным столбцам, ученик должен живо представлять себе *всё* склонение, должен опираться на него памятью, должен *осмыслять* им склонение отдельной парадигмы. Только при этом условии он будет отчетливо понимать, сколько *значений* в форме «стол» или в форме «кровати», и чем эти значения создаются. А вне значений нет и самого склонения, как нет и вообще грамматики, а есть лишь бессмысленная зубрежка. Однако, и по достижении предела этих упражнений — отчетливого знания всей сетки склонения и в горизонтальном и вертикальном направлениях без помощи фраз — ученик не должен забывать оказавших ему столько услуг фраз. Они для него останутся навсегда мостом к первоисточнику знания. Забудет ли он какую-нибудь форму — она сейчас же восстановится с помощью условной фразы. Надо ли будет просклонять какое-нибудь трудное слово, которое почему-либо не идет в легкую параллель с образцами — фразы к его услугам. С помощью их он может вскрывать в языке и аномальные, исключительные формы. И при этом фразы не будут отвлекать его внимания от самих наблюдаемых падежных форм, ибо они не представляют чего-то *однородного* с этими формами, как слова «кто — что», а, напротив, будут выпукло выделять эти формы. А главное, они не будут связывать в его уме представления о падежных формах с чем-то посторонним, с какими-то «вопросами», а только с колыбелью самих падежных форм, со связной речью. Понимание дела при этом никогда не утратится, потому что при соприкосновении с фразами всегда будет *возрождаться*.

Склонение прилагательных должно итти, конечно, по тем же фразам со вставкой прилагательного: «у меня есть большой стол, большая скамья, большое ружье» и т. д., только здесь я рекомендовал бы, пожалуй, сперва вертикальный порядок склонения (т.-е. отдельно по родам), а потом горизонтальный в виду бо́льшей интенсивности родовой связи в прилагательных, чем падежной. Так как парадигмы существительных уже твердо усвоены к этому моменту каждая в отдельности, то затруднений это не представит. Здесь, наоборот, конечным и труднейшим моментом явится собирание всех 3-х родов в одну схему.

Само собой разумеется, что предложенные мной фразы могут всячески модифицироваться и, быть может, совершенствоваться; суть дела не в них, а в методе *фразных шаблонов*, которым я предлагаю заменить шаблоны вопросные в их функции облегчителей заучивания парадигм. В функции же обнаружения и распознавания грамматических категорий вопросные шаблоны, как это показано выше, должны быть изгнаны из школы без всякой замены, потому что тут всякая шаблонность противоречит основному заданию.

К вопросу о проведении в жизнь «Программы Рабочих Факультетов по русскому языку» [1]) при преподавании грамматики.

Переживаемые нами бурные события отразились, как это всегда бывает в критические минуты жизни народов, решительно на всех сторонах жизни. Проникли они и в такую застоялую, специфически рутинную область, как школьное преподавание грамматики.

Как и во всём ином, революционные достижения на первый взгляд представляются здесь максимальными. Все чаяния нео-грамматической школы получили полное официальное признание, записаны черным по белому в ряде программ, изданных государственными учреждениями, наконец, предписаны школьному педагогическому персоналу к исполнению. Но не следует переоценивать всех этих успехов. Для проведения новых программ в жизнь нам пока недостает, в сущности, всего: недостает *понимания* этих программ учащими, могущего возникнуть только путем организованного пополнения ими своего лингвистического образования, недостает *уменья* провести понятую программу в жизнь, для чего нужно уже не только пополнение методического образования, но и создание самой методики нового предмета (каковым, в сущности, является научная грамматика), наконец, недостает элементарных *технических средств* всякой школьной работы, учебников, хрестоматий, таблиц и всяких иных пособий, без которых, в условиях коллективной работы, почти бессильно всякое знание и уменье. Программы — это только первый шаг по далекому и трудному пути. «Ввести» их в обиход так же, как введено, например, новое правописание, совершенно невозможно.

В частности, по 2-му пункту, предстоит огромная работа. Напрасно программа Наркомпроса («Родной язык в школе 1-й сту-

---

[1]) Издание Отдела Рабочих Факультетов, 1921 г., выпуск 2-й.

пени» изд. Госиздата 1921 г.) полагает, что «дело касается... *материала* (курсив подлинника), а не методов преподавания; того, что преподается, а не того, как преподается...» Новизна материала неизбежно требует и новизны методов. Не говоря уже о необходимости, например, отказаться от метода вопросов при определении форм отдельных слов и сочетаний, всецело диктуемой новым материалом, настоятельно необходима разработка *частных методов*, долженствующих наполнить реальным содержанием то широкое и соответственно расплывающееся в умах учащих понятие «наблюдений над языком», которое положено в основу методической части новых программ. Как подойти в этом деле к ученику, как натолкнуть его на наблюдения, с чего начать, как сделать первоначальный выбор фактов наиболее естественным, а свое участие в нем наименее заметным, как привести ученика нечувствительно для него самого к тем именно выводам, которые намечены учителем, в частности как направить его мысль на общее и отвлечь от частностей, до которых так падок неразвитой ум, — эти вопросы и ряд аналогичных других еще ждут своего разрешения. Насколько мало выручают во всём этом программы, мы позволим себе иллюстрировать хотя бы таким примером. Программа Наркомпроса начинается словами: «Деление речи на слова, слов на слоги и звуки» (1-й год обучения). Так как общую истину о делении речи на слова всякий ребенок, приходя в школу, уже знает (ему не раз объясняли уже значение отдельных слов, говорили о неприличии тех или иных слов, сердились или хвалили за те или иные сказанные им отдельные слова, и т. д. и т. д., вообще понятие «слова», как части речевого потока, уже живет в его душе), то надо думать, что программа имеет в виду уже конкретное расчленение той или иной фразы на *все* слова, ее составляющие. А между тем отдельность таких слов, как, например, «на», «в», «без», «и» и т. д., встречающихся слишком часто, чтобы избеганье их учителем не бросилось в глаза ученику, по существу чрезвычайно трудно доказуема. Как заставить ученика «наблюсти», что в «на столе» два слова, а в «написать» — одно? Если даже учитель будет останавливаться только на полных словах, а от частичных будет намеренно отводить внимание ученика, то и то мы имеем основания предположить, что направленный в сторону «наблюдений» ученик сам заметит этот основной факт нашей орфографии (различение целого ряда одинаковых звуковых комплексов в их двойной роли, — как служебных слов и как приставок), и спросит о причинах его. И спросит при этом *в самом начале*, до знакомства с формами падежей существительных, видовыми формами глагола и т. д. и т. д., потому что, как ни стараются новые программы эмансипировать грамматику от правописания, факты языка и письма всё же слишком близки друг к другу по существу, чтобы не жить рядом в душе ученика. И то, что

при наблюдении над одним *устным* языком, быть может, действительно всплыло бы очень не скоро, после необходимого предварительного наблюдения над множеством других вещей, при существовании письма и наблюдения над ним (а запретить наблюдать здесь нельзя) всплывает в первую голову. А в то же время можно с положительностью утверждать, что семасиологическая разница между «на столе» и «написать» (сводящаяся, между прочим, не к одному видовому значению глагольного префикса, а к общей чрезвычайно тонкой разнице между 2-мя типами комплексов, из которых в одном *самый процесс сложения* его частей *изменяет* значение той или иной части, а в другом не изменяет, сравн. изменение смысла 2-й части в комплексах «бездушный», «безвольный», «беспокойный» и отсутствие такого изменения в комплексах «без души», «без воли», «без покоя») недоступна начинающему. Выхода надо искать, конечно, как и во всех таких случаях во внешней стороне языка, в некоторой *физической* отдельности служебных слов [1]), а именно, в возможности *вставки* в одном случае («на большом столе», «без всякой души») и невозможности в другом. Но разве не ясно, что самый путь, по которому должно итти наблюдение, программой не указывается, что его надо открыть и что учитель здесь должен быть первым методистом своего предмета. И разве не ясно, что при наблюдении над словами понадобятся одни пути, над звуками — другие, над формами — третьи, и т. д. и т. д., вплоть до применения, например, *совершенно различных методов* при наблюдении над существительными и над глаголом (см. далее). Вот что мы имеем в виду под понятием «частного метода» и что единственно, по нашему убеждению, вольет кровь и плоть в метод «наблюдений над языком». В нижеследующем мы и задаемся целью предложить несколько таких частных методов вниманию читателей. Все они будут объединены вокруг программы рабфаков и, расположенные в должной последовательности, дадут, согласно нашему заданию, примерный конкретный план проведения в жизнь этой программы [2]).

Но прежде чем приступить к изложению этих методов, мы считаем нужным наметить те *общие* изменения, которые должен, по нашему мнению, претерпеть метод наблюдений в стенах рабфаков. Две основных особенности отличают, как нам кажется, аудиторию рабфаков от обычной школьной аудитории и существенно видоизменяют весь план прохождения грамматики: 1) аудитории рабфака, как взрослой, доступен, при всей ее

---

[1]) В русском языке есть *единственный* физически отдельный (в том же смысле возможности вставки и передвижения) аффикс это «бы» в сослагат. наклонении. Это дает возможность предложенного объяснения. В немецком языке с его отдельными глагольными приставками оно было бы затруднительно.

[2]) Статья эта была задумана, как 1-я глава методики грамматики на рабфаках, дальнейших глав которой автору не удалось пока обработать.

неосведомленности и беспомощности, *серьезный научный интерес*, какого не может быть, конечно, у детей; помимо возраста, самый психологический тип рабфаковской аудитории гарантирует этот интерес, так как здесь мы видим перед собой людей, несомненно, тяготящихся незнанием и сознательно пришедшим к нам за знанием; 2) текст, с которого приходится начинать в рабфаке грамматические истолкования, не может быть тем простым текстом почти без придаточных предложений, без длинных слов и т. д., с какого начинаются занятия в школе; это должен быть обычный литературный текст, ибо всё, что написано детским языком, будет детским по содержанию и, следовательно, не будет соответствовать запросам аудитории. Эти два обстоятельства делают возможным и отчасти необходимым для рабфаков следующие видоизменения в методе наблюдений, как он рисуется составителям новейших школьных программ: 1) было бы смешным педантизмом требовать, чтобы *каждый* языковой факт был взят непременно из наблюденной живой речи слушателей или из лежащего перед ними текста; взрослым людям, настроенным так сказать на наблюдение над языком и на изучение его, факты могут подаваться учителем, подобно тому, как на уроках ботаники учитель приносит растение, изолированное от почвы и среды (а то и модель, вместо растения), и это не мешает слушателям наблюдать его; важно только, чтобы эти факты были уже знакомы слушателям из собственной языковой деятельности, чтобы они не были продуктами научного анализа, т. е. чтобы подавались, например, целые фразы и более или менее самостоятельные слова, а не звуки, слоги, отдельные грамматические элементы слов, служебные слова, косвенные падежи существительных и т. д.; 2) самый подбор подаваемых фактов может производиться учителем планомерно и ряд фактов предлагаться для сравнения, подобно тому, как ботаник может намеренно принести в класс несколько растений одного и того же вида, рода и т. д. и предложить определить их общие признаки; 3) обе предыдущие возможности создают третью весьма важную возможность: предпосылать там, где это нужно, общее понятие частному; так, понятие формы слова может быть дано до рассмотрения всех наличных форм русского языка, понятие глагольной формы до изучения отдельных форм лица, времени и т. д.; 4) наконец, все это вместе создает возможность *систематических*, с самого первого момента, наблюдений, а следовательно, и систематического курса; нет никакой надобности намеренно вводить бессистемность там, где ученики жаждут системы, тем более, что и время в рабфаках отмерено крайне скупо и тратить годы на подход к системе, как это предположено в школе, невозможно.

Может показаться, что последнее положение противоречит «Примерной программе» рабфаков, где бессистемные наблюдения поставлены прямо впереди систематического курса. Но, к счастью,

программа в этом пункте в достаточной мере непоследовательна. «Когда слушатели в достаточной степени привыкнут к определению зависимости одних слов от других», — читаем мы тут, — «овладеют словоизменением, по крайней мере в главных типах слов, и приобретут навыки в различении оттенков слов, можно перейти к систематическому курсу грамматики». Прежде всего, самая постановка наблюдения над зависимостью слов впереди всех других наблюдений создает определенную систему в наблюдениях и в делаемых из них выводах. Далее, как понимать слова: «овладеют словоизменением»? Так как практически учащиеся владеют им с самого начала, то, очевидно, разумеется теоретическое овладение, т.-е. знакомство с ним в его целом («в главных типах слов») на почве сделанных наблюдений. А разве это не систематическое изучение? И какие же еще наблюдения предстоит сделать учащимся в этой области при систематическом изучении? А между тем «и здесь работа должна вестись всё время на наблюдении фактов языка». Как бы то ни было, но все эти неясности вполне разрешают учителю с самого начала взяться за систематический курс, что, по нашему мнению, наиболее целесообразно.

Теперь ещё одно последнее предварительное замечание, относящееся уже не только к грамматике, но и ко всему курсу русского языка. Взрослая аудитория не может и не должна с самого первого момента относиться безразлично и пассивно к той работе, к которой ее подводит учитель. С самого начала ей должно быть ясно, почему и зачем ее внимание направляется на то, а не на другое. В сущности, и у детей такое отношение было бы вполне законным и даже желательным, но, к сожалению, детей трудно удовлетворить в этом отношении. Не то со взрослыми. Они не могут и не должны ограничиваться детским сознанием, что им надо выучиться «правильно читать, писать и говорить». Они должны задать себе и учителю вопрос, почему им надо учиться говорить на своем родном языке, когда они уже давно и вполне владеют им, почему надо учиться правописанию, когда они уже бегло пишут, какая связь может быть между всеми этими уменьями и наблюдениями над языком и т. д. И все эти вопросы можно и должно разрешить перед такой аудиторией в нескольких *вступительных лекциях*. Программа их могла бы быть приблизительно такова:

А. Науки теоретические и практические (прикладные). Языковедение как наука теоретическая. Почему язык стал предметом отдельной теоретической науки (важность языка для мышления). Деление языковедения на отделы. Грамматика с ее делением на морфологию и синтаксис.

В. Практические применения языковедения. Роль грамматики: а) при изучении чужих языков, б) при изучении литературного наречия родного языка (понятие о делении языков на наречия и говоры, происхождение литературных наречий, лите-

ратурное наречие в его аналогиях с чужим языком), в) при обучении правописанию (язык и письмо, коренное различие между тем и другим, письмо и орфография, необходимость последней, фонетический, этимологический и исторический принципы в русской орфографии, роль грамматики в последних 2-х случаях).

По этой программе пишущим эти строки были прочитаны две двухчасовые лекции, как вступительные к курсу, и были встречены аудиторией с большим удовлетворением. Для скептиков заметим здесь, что: 1) аудитория рабфака, как не натасканная на грамматическую школьную премудрость, проникнутую прикладным духом, гораздо более, чем всякая другая аудитория, способна отнестись к языковедению, как к науке теоретической: самая отвлеченность задачи языковедения гарантирует такое отношение; и действительно, когда после указания на ряд теоретических наук и на ряд прикладных был задан вопрос, к каким, по мнению слушателей, должно быть отнесено изучение языка, то получился единодушный ответ: к теоретическим; заметим кстати, что и того пренебрежительного отношения к грамматике, как к чему-то исключительно школьному, учебному (и отсюда практическому), а отнюдь не научному, которое так свойственно интеллигентской мысли, не было здесь и следа — и по понятным причинам; 2) важность языка для мышления (наиболее щекотливый пункт) была показана, конечно, не анализом процессов обобщения и отвлечения, заложенных в языке, а просто апелляцией к внутреннему опыту слушателей, заставившей их признать, что они думают словами и что бессловесное их бытие, возможно для них лишь в минуты бездумного наблюдения или сильных аффектов, но не в минуты размышлений; такая психологическая справка уяснила им психологическую ценность изучения языка, а научный интерес к душевным явлениям оказался для них уже совершенно по плечу.

Только после таких предварительных лекций (или лекций-бесед) можно, по нашему мнению, обратиться уже к систематическим наблюдениям над языком. В настоящей статье мы намерены осветить два основных вида наблюдений: 1) над зависимостью слов и предложений друг от друга и 2) над морфологическим составом слов, из которых первый и программой положен во главу угла, а второй, при систематическом прохождении курса, тоже, конечно, отойдет к самому началу, ибо программа начинается понятием формы слова, основы производной и непроизводной и т. д. Таким образом в настоящей статье будут посильно обследованы два *приступа* к грамматическому курсу, которые начинают собой синтаксис и морфологию и должны как раз, по мысли нашей, быть сделаны *одновременно*, с тем, чтобы эти два упражнения проходили *через весь курс*, попутно с другими более сложными, базирующимися уже на них, упражнениями и наблюдениями. Логическая и орфогра-

фическая польза этих упражнений так велика, что покидать их нельзя даже и тогда, когда грамматические результаты будут вполне достигнуты.

Впрочем, от 1-го упражнения, с которого мы и начнем наше обследование, нельзя в сущности и ожидать никаких определенных грамматических результатов, так как оно по существу почти неграмматично. Ведь определять зависимость слов и предложений грамматически можно только посредством анализа тех грамматических средств, которыми эта зависимость выражена (формы слов, порядок их, интонация и др.). Здесь же определение зависимости предполагается *до* знакомства с этими средствами, и уже во всяком случае до основательного, требуемого сутью дела, знакомства. Ясно, что грамматическим явится это упражнение только в той мере, в какой оно будет опираться на синтаксическое *чутье* учащегося, да еще в той мере, в какой будут устраняться учителем все случаи слишком уже резкого расхождения логики с грамматикой (см. далее). По существу же это упражнение будет на $^9/_{10}$ логическим. И тем не менее мы решительно высказываемся, вслед за программой, за введение его в самом начале курса. И делаем мы это по следующим *практическим* соображениям. Усвоение того сложного литературного текста, который, как мы уже видели, с первых же шагов должен быть предложен взрослому учащемуся рабфака, оказывается для него обычно не по плечу как раз именно в *логико-синтаксическом отношении*, т.-е. в той именно стороне речи-мысли, в которой логика и синтаксис совпадают (элементарные соотношения слов-понятий и предложений-мыслей друг с другом). Что это действительно так, показывают, кроме неуменья прочесть осмысленно вслух мало-мальски сложный период, еще и результаты предупредительного диктанта такого периода: после самого тщательного разбора всех, хоть сколько-нибудь «опасных» в орфографическом отношении мест получается диктант с огромным количеством таких ошибок, которых совершенно нельзя предвидеть (например: «частокол, обвешанн*ыми* связками сушеных яблок и груш», вместо: «частокол, обвешанный связками сушеных яблок и груш») и которые показывают, что учащийся просто *не понял* текста из-за его синтаксической сложности. Что же делать тут учителю? Ждать, пока будет усвоена *вся* морфология (а это при методе наблюдений очень долгий срок) и на ней построен и разработан синтаксис? Но ведь это будет только в конце курса, а как быть с правописанием до этого времени (диктовку по отдельным словам, как явно нецелесообразную, мы, конечно, игнорируем)? Да если бы и удалось справиться с правописанием, то как быть с выразительным чтением? Нельзя же добиться выразительности от непонимающего, а ключ к пониманию — в синтаксисе. Ясно, что надо это упражнение действительно предпослать всему прочему, и *особенно в рабфаках*. Но для того, чтобы избегнуть

одиозного «провала в логику», тут должны быть приняты особые предупредительные меры.

Прежде всего отметим, что на месте «отношений между словами» программы Наркомпроса мы находим в программе рабфаков «зависимость слов друг от друга». Этот вариант чреват серьезными последствиями. Он одновременно и оплодотворяет чрезвычайно данное упражнение (на наш взгляд даже только при нем оно и делается достаточно плодотворным) и в то же время осложняет его. В самом деле, возьмем такой текст: «в воздухе, еще светлом, хотя не озаренном более лучами закатившегося солнца, начинали густеть и разливаться холодные тени». Определение отношений (путем ли вопросов, или путем простых перестановок,—это пока оставляем в стороне) разобьет этот текст на словесные *пары* (не считая служебных слов): «в воздухе светлом», «в воздухе не озаренном», «в воздухе начинали», «еще светлом», «не озаренном более», «не озаренном лучами», «лучами солнца», «закатившегося солнца», «начинали густеть», «начинали разливаться», «начинали тени», «холодные тени». Такая разбивка, уясняя отношения отдельных слов-понятий друг к другу и тем принося несомненную пользу, все-таки не дает еще *общей* картины, потому что не дает соотношений отдельных пар друг с другом, не дает синтаксической (а тем самым и логической) *перспективы*. Когда учащийся подойдет к сочетанию «начинали тени», он, конечно, давно уже забыл о сочетании «в воздухе начинали» или «в воздухе густеть» (здесь, конечно, одинаково возможно и то и другое отнесение, так как сказуемое — двойное, а дополнение обособленное). Да если бы даже он и помнил и если бы даже подобрал и сопоставил все те сочетания, где повторяется один и тот же член, положим: «начинали в воздухе», «начинали густеть», «начинали разливаться», «начинали тени», то как, по какому методу скомбинирует он их в конце концов в *необходимую* комбинацию: «тени начинали густеть и разливаться в воздухе»? Совсем другое дело при определении зависимости. Тут анализ естественно начнется с *независимого* слова «тени» и даст самым продвижением по степеням зависимости необходимое соотношение *всех* слов между собою. Правда, самое понятие зависимости нельзя считать окончательно установленным в синтаксической науке. Высказывалось даже, что термин этот есть лишь пережиток устарелых антропоморфических представлений о синтаксических фактах языка. Однако, не говоря уже об авторитете Потебни и Фортунатова, из которых первый построил на различии между подчинением и сочинением весь свой синтаксис, а второй признавал несамостоятельные и самостоятельные части словосочетаний, не говоря уже о них, нам тут важно то, что синтаксическое отношение в огромном большинстве случаев *одностороннe*, так как выражается лишь в *одном* из соотносящихся («дом отц*а*», «бел*ый* дом» и т. д.);

а это создает то, что одно и то же слово может одновременно быть членом нескольких пар, в одной являясь членом-выразителем грамматического соотношения, а в другой или других членом-невыразителем, так сказать, т.-е. членом, с которым соотносится уже другой выразитель («дом моего отца»). В результате получается определенное *направление* синтаксической связи от члена к члену (дом-отца-моего), идущее через всё предложение. И как бы ни называть это свойство наших синтаксических связей (можно бы говорить просто об измененном и неизмененном члене, при чем «измененный член» в одной паре мог бы квалифицироваться как «неизмененный» в другом), игнорированье его устраняет возможность анализа всяких словосочетаний, кроме двухсловных. В этом смысле мы и сочли понятие «зависимости» необходимым для данного упражнения.

Но, с другой стороны, введение этого понятия вносит свои специфические трудности. Прежде всего, как показать эту односторонность синтаксических отношений *до* изучения морфологической ее стороны, т.-е. до знакомства с отдельными формами? И как избегнуть здесь подмены синтаксической зависимости логическою? Пишущий эти строки употреблял такой способ; он брал сочетания, где чутье языка особенно ярко различает части самостоятельные и несамостоятельные (например, «дом отца», «люблю сестру», «гордый успехом»), т.-е. сочетание именительного падежа с косвенным падежом или глагола с косвенным падежом и опрашивал, какое впечатление произвели бы на слушателей *отдельно сказанные*: «дом» и «отца», «люблю» и «сестру», «гордый» и «успехом» (конечно, не все три пары сразу). Аудитория определенно указывала, что первые части *понятнее*, что они без своих дополнителей, хоть и не всё, но всё же *что-то* значат, тогда как вторые без первых совершенно непонятны. Этим и давалось представление об основном различии зависящего и зависимого, а затем показывалось, что на практике ход зависимости удобнее всего определять вопросами (согласно программе) [1]), и в дальнейшем уже употреблялись вопросы, задаваемые на первых порах учителем, а затем и учащимися. Заметим кстати, что сочетания типа «белый дом» для такой общей демонстрации зависимости непригодны, так как прилагательное, отделенное от существительного, чувствуется уже как существительное и может быть сочтено за самостоятельный член. Далее, вторая трудность, быть может, еще бо́льшая, заключается в том, как

---

[1]) Занятия происходили задолго до написания статьи о «вопросах». В настоящее время я думаю, что раз «независимые слова» найдены, то ход зависимости даже легче и яснее, чем при «вопросах», определится путем последовательного смыслового «нацепления» к каждому из независимых слов ряда зависимых: «начинали разливаться» «разливаться в воздухе», «в воздухе светлом» и т. д.

быть с подлежащим и сказуемым. Подлежащее, вследствие специфической асинтаксичности именительного падежа, ясно выделяется для учащихся как особое независимое слово, и его легко было бы сделать единственным отправным пунктом всего упражнения, так как сказуемое, как-никак, всегда от него формально зависит. Но это неудобно по отношению к безличным предложениям и к предложениям типа: «иду», «идешь». Далее это уравнивало бы сказуемое со всеми другими членами, а это слишком бы уж противоречило синтаксическому сознанию учащихся и, вероятно, сказуемое было бы всё равно рано или поздно открыто. Всё это заставило нас сразу выделить *два* независимых члена, что в свою очередь вызвало вопрос об их взаимоотношениях. Здесь было введено понятие о *равноправном* соотношении слов, и демонстрировалось оно на сочетаниях типа: «я иду», «ты идешь», «он идет» (но не «человек идет», необходимо местоименное подлежащее). Совпадение личного значения подлежащего с личным значением аффикса сказуемого создает здесь такую параллельность, которая, по всем нашим предыдущим наблюдениям, всегда затрудняет учащихся в решении вопроса, что от чего зависит: в то время как одна часть класса утверждает, что «иду» сказано, потому что «я», другая настаивает на том, что «я», потому что «иду». Этот случай мы и выбрали, как типичнейший для выделения двух «независимых членов», а затем уже учащиеся, зная, что почти во всякой разбираемой фразе таких два члена есть, и что с них надо начинать, без труда, по чутью, находили их. О том, что иногда бывает только один «независимый член», они были также предупреждены и легко с этим справлялись. Сказуемостные члены в этой стадии наблюдений приходится тоже относить к независимым, что тесно связано с методом вопросов. Дело в том, что с самых первых шагов приходится констатировать, что некоторые слова на вопрос не отвечают, а напротив, сами пристегиваются к вопросу («*на* чем», «чего *не* люблю» и т. д.). Это очень удобный момент для наблюдений над полными и частичными словами, вклинивающийся в основное наблюдение настолько удачно, что понятия об этих двух разрядах тут же исчерпываются и фиксируются. Понятно, что и глагол-связку в дальнейшем по тому же признаку (не отвечает на вопрос) приходится квалифицировать как служебный член и, следовательно, сказуемостный член заносить в «независимые» (при отсутствии глагола-связки это становится еще более необходимым). Но такая *временная* неточность не так уже опасна. Гораздо важнее то, что, установив понятие «независимых членов», мы имеем возможность ввести в самом начале курса и понятие *предложения*, что имеет огромные практические последствия. В самом деле, всё та же сложность текста для взрослых, в связи с неподготовленностью их к нему, требует с первых же шагов анализа отношений и *между предложениями* (тоже по вопросам), а по

какому же признаку отыскивали бы учащиеся отдельные предложения, если бы у них не было хотя бы «независимых членов» (будущих подлежащего и сказуемого)? Если не прибегать к достаточно скомпрометированному различению «того, что говорится» и «о чем говорится», то других средств, *до* морфологической грамотности, дающейся, повторяем, крайне не скоро, здесь как будто бы нет.

Итак, замена наркомпросовских «отношений» рабфаковской «зависимостью» привела нас к очень существенному видоизменению первого и основного синтаксического упражнения: будущее подлежащее и сказуемое должны в нем уже просвечивать в одежде «независимых членов», а «предложение» должно быть уже прямо налицо, как сочетание именно таких «независимых членов», одно, или с членами «зависимыми».

Между прочим это осложнение окажется чрезвычайно полезно и для орфографии, ибо позволит учителю своевременно указать на недопустимость запятых между «независимыми членами» и на обязательность их между предложениями (при отсутствии более крупного знака). А что это как раз два важнейших случая при обучении пунктуации, — это достаточно известно.

Чтобы покончить с рассмотренным видом наблюдений и упражнений, мы должны сделать еще следующие два небольших дополнения:

1) Метод вопросов сам по себе еще не доводит до сознания учащегося с полной ясностью, какое слово от какого зависит. Опыт показывает, что ученик может в должной последовательности ставить вопросы и давать соответствующие ответы и тем не менее затрудняться при нанесении схемы зависимости на доску (в виде стрелок, лучей и т. д.). Это зависит от того самого *облегчения* дела, ради которого мы вводим вопросы. Ученик может при помощи логической стороны речи переходить от вопроса к ответу, уже забывши, к какому именно *слову* он приставлял вопрос. Следовательно, тут необходимо специальное *словесное* углубление упражнения. Ученик должен сознательно *использовать* метод вопросов, т.-е. приучиться замечать, к какому слову он прикрепляет вопрос, и раз навсегда заметить, что ответное слово от этого самого слова зависит. Это должно быть наблюдено при самом введении метода вопросов [1]. А затем в отдельных случаях словесная сознательность разбора должна контролироваться чертежом.

2) Независимо от того, будет ли употребляться метод вопросов или метод пристановок и перестановок, целый ряд сочетаний должен быть исключен из первоначального разбора. Это все те сочетания, где логическая сторона резко расходится с грамматической. Никакими вопросами и перестанов-

---

[1]) Сравни предыдущую выноску. Это настолько осложняет метод вопросов, что уничтожает всё облегчение, им создаваемое.

ками нельзя добиться от морфологически безграмотного ученика, чтобы он, например, в сочетании «пять человек идет сюда» выделил соотносящуюся пару «пять идет», или в сочетании «лег около десяти часов вечера» выделил «лег около часов» или в сочетании «всю дорогу спал» выделил «дорогу спал». Вопросы здесь мог бы поставить только учитель и притом такие для ученика нелепые, что самый метод вопросов был бы в смысле «наблюдения» безнадежно скомпрометирован. Поэтому лучше всего опускать при разборе такие места, откровенно объясняя учащимся, что сочетания эти, при данном состоянии их знаний, им еще трудны.

Теперь переходим ко 2-му виду наблюдений: над морфологическим составом слов. Здесь дело может вестись прямо по схеме, данной в нашем «Русском синтаксисе в научном освещении». Первым примером лучше всего избрать какой-нибудь глагол (в 1-м лице), так как значение его аффикса особенно ярко. Учащимся задается вопрос, не находят ли они какого-нибудь сходства между словами, положим: «несу», «несем», «несете», «носка», «ношу», «носилки», «изношенный», «обноски», «поноска», «занашивать» и т. д. За утвердительным ответом следует 2-й вопрос: *в чем* сходство? Обычно указывают на сходную звуковую часть — и только. Поэтому следующий вопрос чрезвычайно важный: только ли в этом сходство или еще в чем-нибудь другом? Хорошо, если учащиеся сами придут к сходству значений, если же этого не будет, следует вопрос: нет ли сходства *по смыслу?* Оно, конечно, легко будет найдено (точное определение значения неважно, хотя не мешает учителю формулировать его). Учитель должен затем остановить внимание класса на том замечательном факте, что за совершенно *подвижным* звуковым комплексом (при чем должно быть учтено и различие между языком и письмом, что дает ряд: «нис-», «нес-», «нёс-», «нос-», «нош-», «нас-» и «наш-») — сохраняется всегда *одно и то же* основное значение. Далее следует вопрос: а есть ли какое-либо сходство между такими словами: несу, везу, плету, иду и т. д. . . . ? После утвердительного ответа и указания, в чем оно заключается (общее окончание), класс запрашивается: а есть ли и тут какое-нибудь сходство по смыслу? Класс обычно единодушно отвечает отрицательно. Тогда делается следующий опыт: к длинному ряду глаголов приставляются 2—3 дательных падежа существительных (примерно: везу, плету, кричу, стерегу, крошу, дорожу, пашу, расту, пряду, *окну, столу*) и задается вопрос, не находит ли класс, что последние 2 слова *чем-то* не подходят к этому ряду. Ответ получается резко утвердительный, так как затронутые грамматические ощущения принадлежат к числу наиболее ярких. Далее ищется причина этой разницы, и тем или иным способом, при большей или меньшей помощи учителя, пускай даже при преобладающей его помощи, класс приводится к выводу, что разница лежит

в этом «у», что два последние слова имеют *не такое* по значению «у», как все предыдущие. За этим следует вывод, что не только часть «нес-», но и часть «-у» в слове «несу» *тоже имеет значение.* Этот последний вывод и есть, поистине, фундамент всего грамматического обучения. Ни до него, ни после него не может быть сказано ничего более важного. Само по себе значение этого «у» при этом не должно анализироваться (хотя намекнуть на него в данном случае можно, указав, например, на то, что и «несу» и «везу» и «плету» и т. д., всё это — *я*, а «несешь», «несет» — *не я*). Должно только быть найдено, что оно имеет *какое-то* значение, чрезвычайно трудно уловимое и на первый взгляд незаметное. Далее следует сравнение значений этих 2-х частей («нес-» и «-у»), их противоположение («понятное» и «непонятное», «яркое» и «бледное» главное и добавочное, и т. д.) и заключительное прикрепление изучения этих двух частей *к двум отдельным наукам,* которые будут изучаться учащимися: *семасиологии* и *грамматике.* Конечно, сосредоточение внимания на формальном значении и отвлечение его от вещественного — самый трудный момент для учащегося, и он впоследствии не раз еще будет сбиваться с этого пути в сторону вещественного значения. Но именно поэтому мы и считаем необходимым прежде всего ясно указать ему, чем собственно занимается грамматика, и впоследствии постоянно напоминать ему об этом первоначальном указании. Красной нитью должно проходить через весь курс, что грамматика изучает только эти «-у», «-ешь», «-ет» и т. д. и их *значения.*

Предлагая классу для сравнения вышеприведенные два ряда слов, лучше всего писать их на доске по следующей схеме:

нес	*у*, вез*у*, плет*у*, хож*у*, пиш*у* и т. д.
носк	а
нос	ить
нёс	
нош	у
наш	ивать
и т. д.	

и в дальнейшем условиться называть один из таких рядов «вертикальным», а другой «горизонтальным», объяснив, конечно, всю условность этих названий. Дальнейшая работа и сведется к отыскиванью для каждого предлагаемого слова двух таких рядов или к констатированию, что их нет (слова форменные и бесформенные). Нужно при этом заметить, что учащиеся ищут обычно *более богатых рифм* и поэтому легче отыскивают непроизводные (или вообще более краткие) основы, чем производные. «Белизна» скорее вызовет у них представление о «желтизне», чем о «воде», «скакать» скорее о «пахать», чем о «носить» и т. д. В этом случае нужно просто искать слова с *меньшим сходством на*

конце, т.-е. с самой длинной основой и с самым коротким аффиксом, так как на этой стадии наблюдений отыскивается только одна основа («бесконечн-ый», «разговарива-ть», «воображени-е» и т. д.). Если разбираются не подаваемые учителем слова, а текст, то тут другая трудность: к формам косвенных падежей существительных и прилагательных ученик не может подобрать аналогии, так как более или менее заметно в его уме живут, конечно, только именительные падежи. Здесь может помогать подстановка: ученику предлагается подобрать слово, сходное по концу с данным и *подходящее* (синтаксически, конечно), *для данного текста*. Этот же метод предохраняет ученика и от неграмматических, чисто рифменных ассоциаций, которые, надо сказать, на первых порах чрезвычайно назойливы. К «вода» он подбирает «города», к «пиши» — «шалаши», к «наливай» — «сарай», к «читать» — «мать» и т. д. В большинстве случаев такая неудачная ассоциация отводится анализом самого приводимого слова (так, например, указывается, что в слове «мать» нет аффикса «-ть», потому что тогда получилась бы основа «ма-», а к ней нельзя подобрать вертикального ряда с определенным значением основы, в слове «сарай» аффикс не «ай», потому что получилась бы бессмысленная основа «сар-» и т. д.), но в меньшинстве случаев это не помогает, именно в тех случаях где рифмует только один звук («вода» и «стола», «пиши» и «огни»). Так как основной целью наблюдения является проникновение в значения аффиксов, то таких аналогий допускать, конечно, нельзя, хотя бы они вели к той же разбивке слова, что и нормальные аналогии. Простая апелляция к грамматическому чутью не всегда помогает. Если, например, между «пиши» и «огни» она и может быть успешна (разница значений слишком резка, и ученик быстро соглашается, что тут другое «и», и кроме того здесь легко проанализировать попутно и значения приказания в одном случае и числа в другом), то в «вода» — «стола» она труднее уловима. Здесь-то и помогает метод подстановки.

Второй стадией того же упражнения является уже разложение основ, т.-е. нахождение внутренних аффиксов, префиксов и непроизводной основы. Первоначальное наблюдение делается, конечно, всё по той же двухрядной схеме. Положим, для слова «перевозить» схема:

1) перевози|*ть*, писа*ть*, гляде*ть*, выну*ть*, зна*ть* и т. д.
перевози|л
перевози|вший
перевози|
перевози|мый

и т. д.

дает «перевози-ть». Далее:

2) перевоз|*ить*, воз*ить*, руб*ить*, лом*ить* и т. д.
перевоз|ка
перевоз|
перевож|у
перевоз|чик

и т. д.

дает «перевоз-и-». Наконец:

3) *пере*|возить, *пере*носить, *пере*водить, *пере*рубить и т. д.
|возка
при|воз
вы|воз
под|возить

и т. д.

дает «пере-воз-и-».

По окончании разбивки должно быть непременно сделано окончательное сопоставление всех формальных частей, вместе взятых, с корнем, и должна быть выявлена формальность значения первых, и выделен основной, вещественный характер значения второго («пере-*воз*-и-ть», «раз-*говор*-чив-ый», «не-во-*образ*-и-м-ый» и т. д.). Выделение это может произойти в форме вопроса, какая именно из найденных частей имеет главное значение и какие второстепенные, что̀ важнее, «раз» или «гово̀р», «пере» или «воз» и т. д., с обращением внимания на то, что корень может быть даже короче аффикса, как в данном случае, и тем не менее заключать в себе главное значение слова.

Само собой разумеется, что и сложные слова входят в сферу наблюдений и основослагательные аффиксы («соединительные гласные» *о* и *е*) выделяются на-ряду с другими формальными элементами по тому же принципу двухрядности. Только здесь горизонтальный ряд будет состоять уже из сложных слов, сложенных по тому же способу, т.-е. к «водопад» будут подобраны «самовар», «ледокол», «пароход» и т. д., а к «овцевод»—«землевед», «огнепоклонник», «сердцеед» и т. д.

О том, что все эти наблюдения не суть исторические изыскания и не должны быть ими, что отыскиваться должны только *современные* корни и *современные* аффиксы, ибо в противном случае и самонаблюдения не получится, так много уже писалось в последнее время, что повторять этого не приходится. К тому же вышеизложенный метод подыскивания аналогий не по звукам только, а и по *значению* (формальному), сам по себе гарантирует от исторических экскурсий: аффикс без значения есть не аффикс, а просто рифма, созвучие, а такими обыкновенно и бывают отмершие, несовременные аффиксы. Что же до исторических объяснений, то они, конечно, сами по себе не вредны и, брошенные учителем кстати, могут даже

вызвать особый интерес к языку, как к чему-то живому, изменчивому; в систематическом виде однако они для средней школы преждевременны и уж во всяком случае с *наблюдением* над языком ничего общего не имеют. Всё это, повторяем, настолько известно, что мы здесь ограничимся только самой общей формулировкой основного принципа поведения, которого должен придерживаться преподающий: пусть учитель превратится в этом случае в ученика (незаметно для последнего, конечно), а ученик в учителя, пусть ученик наблюдает, а учитель, если он питает научный интерес к языку, подмечает, какие факты доступны наблюдению ученика: это и будут факты *современного языкового сознания*, и мы не сомневаемся, что введение метода наблюдений в школу даст очень много материала для науки, если школьные учителя пожелают собрать его. Ведь по отношению к современному состоянию языка ребенок, а в еще большей степени необученный взрослый, т.-е., например, ученик рабфака, есть гораздо лучший наблюдатель, чем изощренный в исторических изысканиях ученый грамматист. И если ученик не разложит подчас того, что учителю кажется подлежащим разложению, то с уверенностью можно сказать, что ошибается не ученик, а учитель.

В заключение приведем, как иллюстрацию, несколько примеров разложения, где современное сознание резко расходится с происхождением слова: «облак-о», «обыкновенн-ый», «надменн-ый», «случай-н-ый», «смотр-е-ть», «понят-и-е», «пред-прия-ти-е», «беспеч-н-ый», «образ-чик», «сраж-ен-и-е», «подушк-а» и т. д.

Рассмотренные два вида наблюдений важны, как мы уже указывали, не только теми сведениями, какие учащийся из них извлекает, но и теми *навыками* логического и грамматического расчленения речи и письма, какие они создают. Эти навыки лежат в основе всякого обучения языку. Поэтому наблюдения эти непременно должны перейти в *упражнения*, которым место, повторяем, в течение *всего* курса.

Синтаксис в школе.

Положение учителя русского языка по отношению к грамматической части его педагогической работы становится в последнее время год из году всё затруднительнее и затруднительнее. С одной стороны, научные воззрения на язык, выработавшиеся в современном языковедении, всё более и более широкой струей начинают переливаться из университетов в широкие слои публики и, в частности, в педагогическую среду. С другой стороны, воззрения эти не отлились еще в потребную для школы форму. В силу исторической связи языковедного знания с письменностью, а равно и в силу естественной связи языка с письмом, грамматика принуждена быть в школе «служанкой орфографии». Это создает тот своеобразный результат, что положения одной из отвлеченнейших наук, не уступающей по отвлеченности ее родным сестрам, психологии и логике, должны перерабатываться применительно к уровню развития не старших классов II ступени, как в психологии и логике, а *младшего класса* школы I ступени. Этот скачок от университетской кафедры к младшему классу I ступени есть самое характерное и самое роковое в положении русского языка и его преподавателя в школах I и II ступени, ибо скачок этот должен быть проделан *преподавателем* и притом так, чтобы не пострадала ни та, ни другая сторона, ни университетская кафедра, ни младший класс школы I ступени. Очевидно, что тут необходима колоссальная педагогическая работа, и вся эта работа пока в будущем. Самые смелые и далеко не во всём удачные опыты перенесения научно-языковедных воззрений в школу (Овсянико-Куликовский, Будде, Новикова, Брешенков, Гусев и Сидоров) не спускались ниже класса В школы I ступени, как бы игнорируя тот факт, что по учебным программам, ученик уже и в класс В должен явиться с определенными грамматическими сведениями, которые, раз они ненаучны, неизбежно встанут в противоречие с реформированным курсом класса В. Я уж и не говорю о тех языковых сведениях, которые сообщаются при первом обучении чтению и письму. О них никто и не думает, а между тем именно тут-то и закладывается фундамент ненаучности грамматики в школе.

Но если так тяжело положение учителя в вопросах языка вообще, то в вопросах специально *синтаксических*, оно является уже прямо почти *безвыходным*. Здесь дело осложняется еще следующими факторами: 1) синтаксис, как отдел о формальных *значениях* по преимуществу, не может не быть положен в основу всего преподавания грамматики, как необходимое *осмысление* морфологии и, следовательно, не может не излагаться, хотя бы в самом зачаточном виде, уже в том же младшем классе школы I ступени; 2) при обучении, синтаксис, как *единственная* опора в некоторых отделах обучения знакам препинания, должен теоретически охватывать и практически черпать себе материал для упражнений из *всей* области языка и не может, подобно морфологии, выбирать лишь основные или наиболее потребные для практики факты; школьный учитель, а вслед за ним и ученик, должны уметь синтаксически, в главных чертах, истолковать *всё*, потому что знаки препинания надо уметь поставить во *всем*; 3) в самой науке языковедения, синтаксис принадлежит к наименее разработанным областям. Так создаются эти тройные тиски для учителя: отсрочить преподавание нельзя, выбрать более легкий материал нельзя, получить ясные указания свыше, от университетской науки, нельзя.

Как же преодолевает все эти затруднения учитель? Очень просто. Его выручает сама жизнь. Дело в том, что учитель, побывавший в университете и имеющий представление о научном языковедении, никогда не восходит к *началу* обучения, никогда не спускается ниже класса В. В силу этого он получает учеников уже *готовыми*, уже обработанными в духе традиционной грамматики. Так как *переучивать* детей во славу науки и в ущерб тому практическому делу, ради которого они учатся грамматике, было бы фанатизмом, то ему остается только продолжать не им начатое. И этим путем он освобождается от синтаксических сомнений и исканий.

В 1909 году я, в качестве учителя русского языка, попал в положение совершенно отличное от вышеописанного; в 3-м и 4-м классе той частной гимназии, куда я был приглашен, огромное большинство учеников отличалось святым неведением в области грамматики, неведением, доходившим до того, что не только части предложения или части речи практически не различались, но даже и самые термины звучали для многих незнакомо. Таким образом жизнь поставила меня лицом к лицу с грамматической tabula rasa, а мой педагогический долг заставил задуматься над тем, что я должен начертать на ней. Это и дало толчок моим синтаксическим исканиям, продолжавшимся 4 года и приведшим в результате к выпуску 2-х книг: «Русский синтаксис в научном освещении» и «Школьная и научная грамматика». Труды эти, созданные педагогом для педагогов и с педагогическими целями, не могли не затронуть, конечно, и некоторых научных вопросов в области описательного синтаксиса

русского языка, так как мне пришлось приспособить систему Потебни (и тесно примыкающую к ней популяризацию Д. Н. Овсянико-Куликовского) к моим целям в таком направлении, чтобы она, с одной стороны, не стояла в противоречии с усвоенными мной на университетской скамье основными положениями Фортунатовской школы, а, с другой стороны, обнимала возможно большее число синтаксических явлений современного литературного языка и была в достаточной мере гибка и детальна для синтаксического истолкования любого школьного текста. К этому не могли, конечно, не присоединиться и некоторые самостоятельные наблюдения в области синтаксической семасиологии, и в результате в системе Потебни было сделано несколько существенных изменений. Познакомить с этими изменениями и с теми соображениями, которые вызвали их, и составляет цель моей статьи.

В основу синтаксиса кладутся обыкновенно две классификации слов, как частей речи и как членов предложения. Обе эти классификации в системе Потебни да, понятно, и во всякой истинно-грамматической системе, настолько тесно подходят друг к другу, что является даже вопрос, нужны ли действительно обе они одновременно? Нужно ли различение частей речи, если мы различаем части предложения? «Принципиальное различие между частями речи и частями предложения провести довольно трудно», говорит Д. Н. Кудрявский в статье «Школьная и научная грамматика», приложение к «Русскому языку» С. А. Новиковой. Автор, повидимому, склонен объяснять сохранение этих двух классификаций преимущественно традицией. Мне кажется, что если бы даже это было и так, то и то нам ничего не оставалось бы делать, как подчиниться этой традиции, так как наличный состав терминов (а совершенно новые термины создавать почти невозможно) позволяет определить многие синтаксические явления только с помощью *обеих* классификаций, которые таким образом необходимо *дополняют* друг друга. Так, среди частей речи нет термина для прилагательного, функционирующего как существительное («богатый пирует, а бедный горюет», «смешивать приятное с полезным», и т. д.), и мы можем обозначить это замещение, только назвав здесь прилагательное подлежащим или дополнением. Правда, Кудрявский говорит, что в таких случаях мы имеем дело с «превращением прилагательного в существительное». Но в таком рассуждении синтаксическая точка зрения явно преобладает над морфологической. Ведь «богатый» и «бедный» все-таки останутся здесь *прилагательными* и сознаются совсем не так, как «богач» и «бедняк». Сами по себе, как представления, «богатый» и «бедный» в силу своей прилагательности, гораздо *отвлеченнее* «богача» и «бедняка», а те гораздо ярче и выпуклее первых. Точно так же и для обратной замены прилагательного существительным («приложение») среди частей речи нет термина. С другой стороны,

среди членов предложения не найдется, например, термина для *наречия*, в морфологическом смысле (т.-е. для слов на «о»). Все эти выхваченные здесь лишь для примера, а фактически гораздо более многочисленные затруднения, с одной стороны, показывают, что считаться с традицией двоякого деления слов необходимо, а, с другой стороны, доказывают, что тут дело и не только в традиции, а *в двух различных точках зрения*, создавших ту и другую классификацию, — морфологической и синтаксической. Конечно, части речи вырабатывались в языках, как члены предложения, да и в настоящее время не могут быть оторваны от тех синтаксических форм, которые характерны для них; конечно, члены предложения выражаются теми же грамматическими формами, что и части речи. Но части речи — это *застывшие* члены предложения, *выкристаллизовавшиеся* в определенные формы и системы форм, распознаваемые и вне своих сочетаний и приобревшие, в связи с этим, определенное словообразовательное значение; наоборот, члены предложения это — пришедшие в *движение* части речи, части речи в самом процессе ее как части словосочетаний. Эта двоякая точка зрения на одни и те же факты, выразившаяся в общем разделении грамматики на морфологию и синтаксис, должна быть сохранена, думается мне, и здесь.

Само собой разумеется, что всё вышесказанное обязывает меня строго разграничить ту и другую классификацию, сделав первую исключительно морфологической, а вторую исключительно синтаксической.

У Потебни, в связи с общим его взглядом на форму слова как на формальное *значение* его, мы такого разграничения не находим, и, следовательно, морфологической классификации слов мы должны искать у Ф. Ф. Фортунатова. Правда, Ф. Ф. классифицирует лишь слова индо-европейского праязыка, но его классификацию при небольшом изменении не трудно применить и к современному русскому языку. Результат при этом получится следующий. Все слова языка делятся прежде всего на форменные и бесформенные (этими терминами я решился в конце концов заменить выражения «слова, имеющие форму», и «слова, не имеющие формы»). Форменные слова делятся на слова с синтаксическими формами и слова без синтаксических форм. Первые делятся и в нашем языке точно так же, как делились в индо-европейском, на склоняемые слова (имена) и спрягаемые (глаголы). Склоняемые слова делятся на существительные склоняемые слова с одной только синтаксической формой падежа и прилагательные склоняемые слова с синтаксическими формами падежа, числа и рода. Среди последних можно выделить особый разряд прилагательных со словообразовательными формами времени, залога и вида (причастия). Некоторое затруднение представляет здесь только наше прошедшее время. В праве ли мы относить его к спрягаемым словам, раз оно не имеет форм лица? Не

следует ли, с чисто морфологической точки зрения, признать его несклоняемым прилагательным, объединив с такими прилагательными, как «добр, добра, добро», «умен, умна, умно» и т. д. и выделив, может быть, даже всю эту категорию в особый разряд в виду ее несовпадения, с категорией прилагательного (несклоняемость)? Но мне кажется, что вряд ли даже и морфология может в такой степени отвлекаться от формальных значений. Ведь, что по значению наши теперешние «белел», «каменел» и т. д. суть самые настоящие глаголы, лишь дефективные по отношению к форме лица, в этом не может быть ни малейшего сомнения, так же как и в том, что «умен, умна, умно»—прилагательное, дефективное по отношению к формам падежа. И если бы мы соединили в одной категории столь разнородные группы, то, конечно, лишь затем, чтобы сейчас же разделить их по морфологическим же признакам (формы времени и наклонения в словах на «л») на те же 2 группы, которые продолжали бы тяготеть каждая туда, откуда они оторваны. Всё это заставило меня отнести «белел», «каменел» и т. д. к спрягаемым словам, понимая под спряжением в данном случае изменение по временам и наклонениям. Вторая основная морфологическая группа, форменные слова без синтаксических форм, преимущественно нового происхождения. Это наши наречия (понимая под этим термином только слова на «о», как «умно», «хорошо» и т. д.), деепричастия и инфинитивы. Для этих 3-х групп, по сравнению с предыдущими, характерна, во-первых, их разнородность, т.-е. несоотносительность друг с другом, а во-вторых, присутствие в каждой из них специфической формы, создающей данную категорию, т.-е. формы наречия (суффикс «о»), формы деепричастия (суффикс «я» в «читая», суффикс «и» в «читавши») и формы инфинитива («ть» в «читать»), тогда как предыдущие рубрики сами по себе не связаны с особыми словообразовательными суффиксами (хотя часто и характеризуются ими).

Относительно наречия может возникнуть, с строго морфологической точки зрения, сомнение, существует ли эта форма в русском языке, в виду ее совпадения с формой среднего рода краткого прилагательного. Но мне думается, что это сомнение, если оно зарождается, должно быть направлено во всяком случае скорее на средний род краткого прилагательного, чем на наречие. Что наречие, т.-е. форма на «о», есть живейшая современная морфологическая категория, доказывается следующим: 1) образование и распространение в последнее время по образцу наречий соответствующих причастных форм: «угрожающе», «маняще», «обещающе» и т. д.; 2) образование (тоже часто на наших глазах) таких же форм от мягких прилагательных («внешне», «средне», «искренне», «излишне» и т. д.); 3) полная потеря значения среднего рода прилагательного в некоторых случаях («много», «давно», «долго», «рано», «поздно», «часто», также всех на «енько» — «давненько»,

«хорошенько», «скромненько», «вежливенько», и т. д.). Сюда примыкает огромное количество случаев, где значение наречия уже явно возобладало («хорошо», «отлично», «худо», «скверно», «грустно», «весело», «смешно», «досадно», «больно», «стыдно», «грешно», и т. д.) и где построения с прилагательным, как: «это здание хорошо», «это дитя больно», «его поведение худо», явно искусственно и мало употребительно. С другой стороны, есть и несколько прилагательных, не могущих иметь наречного значения (например, «радо», «сыто», «известно», «склонно»), но эти случаи совершенно исключительны. Что язык тяготится здесь двойственностью значения, видно из того, что у нас проявляется склонность различать иногда эти значения по ударению (хочется сказать: «это животное малб» при «он ест мало», «все это старб» при «он выглядит старо», сравни также «дитя больнб» при «ему больно»). Но, что в этой борьбе значение наречия явно побеждает и всё больше и больше вытесняет значение прилагательного, в этом не может быть ни малейшего сомнения.

Относительно инфинитива нужно заметить, что в моей классификации он впервые выделяется в школе в совершенно самостоятельную категорию, и в связи с этим стоит вопрос о термине: ведь при таких условиях его не только «неопределенным наклонением», но и «неопределенной формой глагола» нельзя называть, и даже простое «неопределенная форма» к нему тоже не подходило бы, так как неопределенен он ведь только по сравнению с глаголом, сама же по себе эта форма так же определенна, как и все прочие. Должен признаться, что мое терминологическое воображение оказалось здесь бессильно, и я решил оставить латинский термин в русской форме: инфинитив.

Переходя далее, к конечному результату всей этой классификации, мы видим, что последние 7 звеньев ее: существительное, прилагательное, причастие, глагол, наречие, деепричастие и инфинитив являются, со стороны значения, не только разрядами слов, но и особыми основными словообразовательными формами языка, которые и можно назвать формами частей речи. О значениях их я говорить здесь не буду, так как они все были разработаны Потебней и так увлекательно и обстоятельно популяризованы Овсянико-Куликовским, что на мою долю выпала только дальнейшая популяризация соответственно составу моих слушателей и читателей. Только относительно значения деепричастия и инфинитива я должен сказать здесь несколько слов. При толковании деепричастия я старался воздержаться от обычной параллели: деепричастие — глагольное наречие, как причастие—глагольное прилагательное, и напротив—старался показать неодинаковость соотношения в обоих случаях. Так, я указываю на то, что деепричастие есть не просто глагольный признак признака, а глагольный признак *глагольного* же признака, так как может относиться *только к глаголу*, тогда как наречие

может относиться и к прилагательному (замечательно красивый) и к другому наречию (замечательно красиво). Да и самое отношение к глаголу у того и другого далеко неодинаковое: деепричастие в силу своей *двойной* связи со сказуемым и подлежащим гораздо менее тесно слито с глаголом, чем наречие (здесь сказывается происхождение от синтаксических антиподов, именительного и винительного падежей). Далее, причастие гораздо чаще и полнее переходит в прилагательное, чем деепричастие в так называемое «неграмматическое наречие» (случаи *полного* перехода деепричастия в наречие, как «молча», совершенно исключительны). Вообще основное морфологическое несоответствие отзывается здесь и на значении: причастие есть морфологически прилагательное + известные словообразовательные глагольные формы, а деепричастие не есть наречие + те же глагольные формы, а есть слово со специальной формой *деепричастия* и с теми же глагольными формами (сравн. такие образования, как «угрожающе», «обещающе», где морфологически действительно суффикс наречия сочетается с словообразовательным глагольным суффиксом). При толковании инфинитива я старался вернуть этой форме ту своеобразность значения, на которой настаивал Потебня и которая сильно пострадала у Овсянико-Куликовского. Правда, Потебня энергичнее отделяет эту форму от имени, чем от глагола. Но это объясняется у него чисто полемическими задачами, тем, что ему еще приходилось *доказывать*, что это не имя. Овсянико-Куликовский, уже без полемической необходимости, еще более подчеркнул глагольность значения инфинитива, и в результате у него, не без насилия над морфологической стороной дела, инфинитив превратился в тот же глагол, хотя и без формы лица, но с *отношением* к лицу речи («отношение к лицу делает инфинитив спрягаемою частью речи...», «инфинитив есть глагол...» «его призвание — быть сказуемым...» и т. д. «Синтаксис», стр. 86—89). В противовес этому пониманию я стараюсь выделить инфинитив, как особую словообразовательную форму, как особый *способ представления*, совершенно самостоятельный по отношению и к глаголу и к имени, и заключающийся, коротко говоря, в формальном представлении *действия без деятеля*, при чем оба эти элемента *одинаково важны*, значение это должно быть осознано и выделено, по моему мнению, в его полной своеобразности и полной языковой иррациональности (ведь вне языка действие без деятеля не может быть мыслимо).

На этом бы я и закончил отдел о частях речи, если бы не считал необходимым оглянуться еще на школьные части речи и сделать по этому поводу два примечания:

1) С педагогической точки зрения я самым решительным образом восстаю против внесения местоимения и числительного в отдел о частях речи, хотя бы в виде выделения в отделе о существительном подчиненных разрядов существительных-место-

имений и существительных-числительных и параллельной группировки в отделе о прилагательном (как это делает в своих последних учебниках Овсянико-Куликовский). Дело в том, что внутренняя сторона местоимений (понимаю их согласно толкованию Ф. Ф. Фортунатова, как слова, выражающие только отношение предмета мысли к самой мысли) совершенно недоступна для начального обучения (а части речи проходятся с самого начала) и лишь с большим трудом и большим искусством учителя может оказаться доступной для 3-го или 4-го класса. Всё же, что делается до сих пор для объяснения ребенку значения местоимений, есть не только упрощение, но и недопустимое искажение науки и влечет за собой то, что на почве данного определения местоимения (даже в таком виде, в каком дает его Овсянико-Куликовский, как «мало-знаменательное» или «формальное» слово), или Кудрявский и Томсон (как «указательное» слово), ребенок не может *сам* отличить местоимения от неместоимения, а тем менее разобраться в переходных случаях. И он заучивает определенный список местоимений наизусть (всегда условный, конечно), а потом твердо и без запинки отличает местоимения от неместоимений. Вот эта-то схоластическая работа и не должна иметь места в школе. К тому же размещение местоимений по рубрикам существительного и прилагательного имеет еще то неудобство, что оставляет в стороне бесформенные местоимения наречного характера, как: «как», «так», «иначе», «когда», «тогда», «иногда», «куда», «где», «везде» и т. д. Между тем самое понятие местоимения могло бы быть выяснено ребенку только путем самого широкого сопоставления слов-названий со словами-местоимениями (т.-е., например, ряды: Иван, добрый, хорошо, вчера, в гостях, домой, и: кто, какой, как, когда, где, куда, тот, такой, так, тогда, там, туда, иной, иначе, иногда и т. д.), не говоря уже о том, что подобное отрывание одних местоименных слов от других прямо ненаучно. Конечно, в ученой литературе термин «местоимение» может по традиции продолжать употребляться в его условном смысле (т.-е. в смысле только существительных и прилагательных местоименных), но условности, безвредные для ученого, сплошь и рядом оказываются очень вредными для школьника. Наконец, важно еще и то, что, внося местоимение в отдел «частей речи», мы неизбежно оставим у ученика впечатление, что это все-таки «часть речи», только более мелкая. Различие между грамматическими и не грамматическими разрядами может быть понятно лишь по усвоении *всей* грамматической и затем *всей* неграмматической классификации. Все сказанное относится и к числительным с той только разницей, что они менее трудны по значению, но зато и менее важны в семасиологическом отношении и потому менее нужны в общеобразовательном. Кроме того, они, конечно, совершенно несоотносительны с местоимениями, и постановка их рядом только продолжает обычную школьную путаницу,

Замечу еще, что *практически* обе группы ненужны, так как в морфологии и орфографии и те и другие можно рассматривать, как «неправильные существительные» и «неправильные прилагательные». Особого местоименного склонения в нашем языке, по-моему, нет, так как склонение местоименных прилагательных сделалось общим для всех прилагательных, а склонение слов «я» и «ты» скорее носит сейчас *смешанно-именной* характер: «стола» и «меня», «воде» и «мне», «водой» и «мной». Если и ощущается в этих группах потребность, то только в некоторых деталях синтаксиса, которые естественно отодвигаются к первым классам школы II ступени.

2) Школьное соединение глагола, причастия, деепричастия и инфинитива в одной рубрике имеет кое-что за себя и, во всяком случае, очень полезно для синтаксиса (общая способность управлять винительным падежом, подчинять себе большие группы слов и предложений, определяться наречием). Поэтому я предлагаю все же удержать *менее тесную*, чем части речи, и частью перекрещивающуюся с ними категорию «глагольных слов» (= школьному «глаголу»).

Перехожу к членам предложения. Так как при строго морфологической классификации слов частичные слова ускользают от определения, попадая в разряд бесформенных слов, то, очевидно, классификация членов предложения должна начаться с основного деления слов на *полные* и *частичные*. Первые будут *полными* или *знаменательными* членами предложения, вторые — *служебными* членами предложения. Полные члены принято делить на главные и второстепенные. Деление это многими заподозривалось, как чисто условное, и А. И. Томсон, например, говорит в своем «Общем языковедении»: «Второстепенными можно называть дополнение и прочее лишь в том смысле, что бывают предложения, в которых эти члены отсутствуют» (изд. 1-е, стр. 312). Если понимать тут «предложение» в широком смысле, то никакого деления членов на главные и второстепенные по указанным признакам провести нельзя, так как всякий член предложения может отсутствовать, даже и сказуемое («он сел у окна, а я — у двери»). Если же здесь имеется в виду лишь «полное предложение», то «главность» и «второстепенность» члена будут, очевидно, всецело обусловлены объемом понятия «полное предложение»: если предложение, например, «он дал» считать полным, то дополнение при «дал» будет второстепенным членом, если же неполным, то главным. В противовес такому критерию я считал бы нужным выдвинуть другие основания для деления полных членов на главные и второстепенные: 1) Логико-психологические отношения, которые здесь не могут быть забыты. Подлежащее и сказуемое суть грамматические коррелятивы таких элементов мысли, которые различимы и вне языка, и, как таковые, они должны быть отделены от других членов, различаемых только в языке. 2) Понятие синтаксиче-

ского подчинения. Понятие это неотделимо от синтаксического отношения вообще, так как из двух соотносящихся слов формальным признаком соотношения обладает всегда лишь *одно*. Следовательно, один из соотносящихся элементов всегда самостоятелен, а другой *к нему относится*, т.-е., по отношению к нему несамостоятелен. Само собой разумеется, что элемент, самостоятельный по отношению к одному из элементов, может быть в то же время несамостоятельным по отношению к другому. Поэтому, *абсолютно* самостоятельным является в предложении только *подлежащее*, лишенное вообще синтаксических форм. Однако, и несамостоятельность сказуемого, в силу его психологического значения, чрезвычайно слаба, что выражается и многими грамматическими признаками (опущение подлежащего, безличность, согласование по смыслу). Все остальные члены являются уже в полной мере несамостоятельными и, с этой точки зрения, могут быть выделены, как второстепенные. Таким образом, и с этой стороны мы приходим к тому же результату: подлежащее и сказуемое — главные члены, остальные — второстепенные. Относительно главных членов мне здесь говорить не приходится, так как определение Потебни (именительный падеж существительного или субстантивированного прилагательного для подлежащего и глагол—для сказуемого) не может быть, конечно, ни в чем изменено. Мне только пришлось и тут устранить смешение глагола с инфинитивом, введенное, вопреки Потебне, Овсянико-Куликовским, признавшим инфинитив в сочетаниях типа «люди пахать, а мы руками махать» и «быть бычку на веревочке» обыкновенным сказуемым. Но Потебня ясно указывает, что функция приглагольного инфинитива не может измениться от того, что при нем нет глагола, как не изменяется и функция других приглагольных членов при опущении глагола. «Не признавая этого,—говорит он,—можно дойти до заключения, что функция глагола в «я иду домой» и наречия в «я—домой» одна и та же» (Изд. 1-е, стр. 321).

Перехожу к второстепенным членам. *Определение* уже Потебня, а вслед за ним и Овсянико-Куликовский, отождествили с несамостоятельно употребленным прилагательным. Но сюда же принято относить и существительное, употребленное атрибутивно, т.-е. не управляемое, а *согласованное* с другим существительным по образцу прилагательного. Это то, что в школе называется приложением. Потебня пытался расширить эту рубрику следующим образом: «ошибочно приписывать, — говорит он, — аппозитивную силу лишь существительному, снабженному своими определительными или дополнительными, а еще ошибочнее думать, что всякое существительное, употребленное атрибутивно (в обширном смысле слова) есть непременно приложение, а не атрибут в тесном смысле... Думая так, мы бы упустили из виду несомненную разницу между «Царь Петр» и «Петр, царь-преобразователь» и т. д. И далее: «мы видим, что часть существитель-

ных, именно местоимение-существительное, приложениями никогда не бывает, а напротив часть прилагательных в обширном смысле, именно *причастия*, особенно наклонны употребляться аппозитивно» (стр. 128 и 129. Курсив мой). Здесь я не следую за Потебней по следующим соображениям: Потебня не расширяет понятие приложения, а передвигает его совсем в другую плоскость, понимая под ним очевидно то, что в школе считается «сокращенным определительным предложением» + соответствующие по интонации и знакам препинания случаи приложений (сравн. еще 147-ю стран., где он в примечании подчеркивает, что в выражении «девица, босая, вышла на мороз» — «босая» будет приложением, и прибавляет, что «различие между определением и приложением обозначается не столько порядком слов, сколько тоном»). Откладывая вопрос о том, как назвать то, что Потебня называет приложением, до дальнейшего, я хочу здесь указать на то, что этим путем он лишается термина для определения, выраженного существительным, а между тем это определение настолько непохоже синтаксически на определение-прилагательное, что его необходимо как-нибудь выделить. Дело в том, что существительное гораздо менее способно функционировать адъективно, чем прилагательное—субстантивно. Существительное и в роли определения остается всё тем же существительным и, как таковое: 1) не соединимо с наречием (нельзя сказать «велико царь Петр», а только «великий царь Петр») 2) соединимо с любым числом собственных определений, которые могут быть распространены рядом других членов и даже могут быть в свою очередь приложениями («царь - преобразователь России, царь, далеко опередивший всех в понимании нужд своего времени, Петр хотел...») 3) не имеет настоящих форм согласования, вследствие чего отличение определения от определяемого внешне может быть проведено здесь лишь по побочным синтаксическим признакам («собака Шарик прибежал*а*», «будущ*ий* человек - дрянцо»), а внутренне сводится к вещественному преобладанию одного из существительных над другим (сравн. «царь Петр» и «река Урал»). Всё это заставляет даже сомневаться в самой атрибутивности существительного во многих случаях (сравн. такие сочетания, у Кольцова, как «тучей - бурей», «ветром - холодом», где решительно нельзя уловить, что к чему «приложено»). Тем более необходимо отделить такое определение от настоящего определения - прилагательного. Как назвать его — это, конечно, совершенно безразлично. Но я думаю, что лучше всего удержать традиционный термин «приложение» или «определение-приложение». Перехожу к *дополнению* и *обстоятельству*, которые удобнее всего рассмотреть параллельно. Здесь мне пришлось опять-таки вернуться от Овсянико-Куликовского назад к Потебне. Потебня отождествил дополнение с косвенным падежом существительного или субстантивированного прилагательного, а

обстоятельство с наречием в широком смысле слова, включив сюда и деепричастия. Само собой разумеется, что с грамматической точки зрения иного деления и быть не может, и я изменяю здесь Потебню лишь в том отношении, что, держась морфологического смысла термина «наречие», точнее формулирую различные разряды слов, образующих рубрику «обстоятельств», видя здесь: 1) наречия, 2) бесформенные слова, равнозначные с наречиями («вслух», «напрямик», «врозь», «весьма» и т. д.) 3) бесформенные слова, косвенно описывающие действия («вчера», «там», и т. д., «обстоятельства» в тесном смысле слова), 4) деепричастия. Овсянико-Куликовский же устанавливает еще особую промежуточную рубрику «дополнений - обстоятельств» или «обстоятельств - дополнений» (иначе «фиктивные дополнения» или «фиктивные обстоятельства», все 4 термина обозначают, повидимому, одну рубрику). Деля дополнения по характеру связи их с глаголом и устанавливая в одних случаях зависимость падежа дополнения от лексического значения глагола («писать книгу», «достичь берега»), а в других от общего характера оборота (быть *бычку* на веревочке», «он *всеми* любим») он далее говорит: «Третий разряд приглагольных дополнений, это те, которые, отличаясь характером относительной независимости, только примыкают к глаголу, состоят при нем, а не управляются им непосредственно, не обусловливаются ни лексическим значением глагола, ни его залоговой формой, ни характером целого оборота. Эти дополнения можно назвать относительно-независимыми, и они образуют переход от дополнения к обстоятельству» (Синтаксис, 1-е изд., стр. 236). Собственно говоря на разную степень зависимости дополнений от управляемых слов указывал и Потебня. «Чтобы понятие управления не расползалось в туман, — говорит он в своем введении, — следует понимать под ним только такие случаи, когда падеж дополнения определяется формальным значением дополняемого (например, винительный прямого объекта при действительном глаголе, падеж с предлогом при предложном глаголе, как «надеяться на бога»). Если же дополняемое само по себе не указывает на падеж дополнения, то об управлении не может быть и речи. Другими словами, связь между дополняемым и дополнением может быть теснейшая и более отдаленная. Таким образом второстепенных членов предложения нельзя подвести под рубрики согласования, управления и отсутствия того или другого, ибо несогласуемыми и неуправляемыми могут быть и дополнения» (стран. 145). Эти - то «неуправляемые» дополнения Овсянико-Куликовский и назвал дополнениями-обстоятельствами. Но он при этом упустил из виду, что слабость синтаксической связи не есть еще «переход от дополнения к обстоятельству». Категория «неуправляемых» (или, как я их называю, «примыкающих») дополнений гораздо *шире* того, что здесь имел в виду автор. Примыкание не есть признак изоляции данного падежа в системе

склонения (зарождающиеся обстоятельства), а есть признак только *переноса* этого падежа из одних сочетаний в другие, переноса, который может повлечь, а может и не повлечь за собой изоляции. Примеры: дательный падеж непосредственно связан только с такими глаголами, как «даю», «мщу», «льщу», «угрожаю», «помогаю», «обещаю» и т. д. Следовательно, в таких сочетаниях, как «позови *мне* извозчика», «он *мне* наступил на мозоль», «я *вам* решу эту задачу в полчаса» дательный падеж «не управляется», а «примыкает». Но разве это зарождающееся наречие? Творительный падеж с предлогом «с» можно признать управляемым (в узком смысле слова) только при словах, у которых в корне или приставке имеется значение взаимности (ссорюсь с кем, ссора с кем, мир с кем, согласен с кем, соединение, союз и т. д.). Во всех остальных случаях, как: «я стоял с ним», «ешь пирог с грибами», «шляпа с пером» и т. д. он не входит в конструкцию, т.-е. примыкает. Однако, адвербиальности в смысле ослабления значения падежа и слияния имени с предлогом здесь нет ни малейшей. Сравн. еще дополнения: «я обедал без него», «я переписал для него стихотворение», «я ночую у него» и т. д. Все это примыкающие дополнения, но они даже и в школе не разбираются как обстоятельства. В другом месте (стран. 258) Овсянико-Куликовский выдвигает еще и другой признак своих «обстоятельств-дополнений»—бледность *падежного значения*. Но и тут он, по-моему, смешивает временный или местный или образный, словом логически приближающийся к школьному «обстоятельству», характер значения с бледностью его. Так он одинаково относит к «дополнениям-обстоятельствам» и «ходуном-ходит», где значение творительного падежа действительно побледнело вследствие процесса изоляции, и «обернуться соколом», «ехать лесом», где творительный падеж и внешне и внутренне ясен. Вообще рубрика «дополнений-обстоятельств» расплылась у него совершенно вследствие того, что он, повидимому, хотел соединить в ней три совершенно различных рубрики: 1) случаи начавшейся изоляции падежа, например: «ночью», «днем», «с жаром», «без памяти», «без разбору», 2) примыкающие дополнения, 3) школьные «обстоятельства места, времени, образа действия» и т. д. Из всех трех, очевидно, только первая могла бы действительно претендовать на особое место между дополнением и обстоятельством, если бы только она могла быть поставлена в какие-нибудь границы. Но в том-то и дело, что процесс превращения дополнений в обстоятельства непрерывен, и что *все* стадии его встречаются в современном языке. Следовательно, здесь есть переходные явления, но не может быть никакой переходной рубрики.—Кроме дополнения, определения и обстоятельства, я признаю еще четвертый второстепенный член предложения—*инфинитив*. Потебня в своем введении не рассматривает инфинитива как члена предложения, отсылая за этим читателя к специальной

главе об инфинитиве во втором томе. Там же он, как я уже упоминал, настаивает на отделении его и от имени существительного (т.-е. подлежащего или дополнения), и от глагола (т.-е. сказуемого), называя его всюду «второстепенным сказуемым». Но этот термин у Потебни довольно расплывчат, так как им же он называет и причастие в древне-русском языке в таких оборотах, как «въстав и рече» или «несть кто донеса», при чем признаки второстепенного сказуемого получаются разные (в одном случае значение самой формы, а в другом — синтаксическая обстановка, свое особое подлежащее, отделение от сказуемого союзом). Овсянико-Куликовский, как я уже тоже упоминал, преувеличил глагольность инфинитива и поэтому в одних случаях отождествил его со сказуемым («люди пахать, а мы руками махать»), в других включил его как вторую часть в свое «*двойное сказуемое*» («хочу пойти», «велю вам пойти»), в третьих признал его «сжатым в одном слове *предложением*» («свойство краснеть», «обратился с просьбою дать денег», «имел намерение помочь» и т. д. «Руководство к изучению русского языка» стр. 97, изд. 2-е). Во всех этих случаях, он признает, очевидно, *самостоятельную сказуемость* инфинитива, и потому во всех них я не мог с ним согласиться. Таким образом вопрос об инфинитиве, как члене предложения, должен был быть решон мною самостоятельно, и в конце концов, я решил его в том смысле, что признал самый вопрос мнимым, т.-е. что инфинитив и в предложении есть всегда инфинитив и ничего более. Я хочу этим сказать, что инфинитив не изменяет своего основного значения ни при каких условиях и ни при какой синтаксической обстановке, в отличие, например, от прилагательного, которое обозначает то признак, то предмет, в зависимости от того, употреблено ли оно при существительном или без него. Правда, инфинитив может, по выражению Потебни, «быть выдвинутым на место подлежащего» («ошибаться свойственно человеку») или на место предикативного имени («первая моя забота была переодеться»), он может сливаться со сказуемым в синтаксически цельное сочетание («стал писать»), может приобретать особый усилительный или выделительный оттенок по отношению к сказуемому («читать читает, а писать еще не пишет»), и все эти особенности его, конечно, должны быть изучены в синтаксисе. Но важно то, что во всех этих случаях основное значение его (деятельность без деятеля) всегда остается *совершенно одно и то же*. С другой стороны, других категорий слов, которые бы синтаксически приравнивались к нему, в языке тоже нет, и, следовательно, часть речи и член предложения здесь должны *совпадать*. Вот почему, с чисто-научной точки зрения вопрос об инфинитиве, как члене предложения, представляется мне совершено праздным. Не то с педагогической точки зрения. Здесь вопрос этот становится чрезвычайно важным, хотя и переходит в чисто-терминологический вопрос: как *назвать* инфи-

нитив, как член предложения? Дело в том, что, меняя одни термины при переходе от морфологического разбора к синтаксическому и не меняя других, мы внесем путаницу в представления учеников, не говоря уже о том, что термин «инфинитив» среди остальных терминов членов предложения будет звучать дико: те все, как-никак, указывают на внутреннюю сторону предложения и на соотношения между членами (удачно ли—это другой вопрос), а этот один будет безотносителен со всеми другими. Всё это побуждало меня во что бы то ни стало избрать термин, и в конце концов я остановился на термине, освященном Потебней— «второстепенное сказуемое». Так как к причастию и деепричастию я его ни при каких условиях не применяю, то с грамматической точки зрения он безвреден, а в то же время он характеризует до некоторой степени значение инфинитива и вводит его в семью других членов предложения. Правда, именно с этой-то стороны он и небезупречен, сближая его слишком со сказуемым, и в этом смысле предпочтительнее был бы «член второстепенного действия» или «глагольно несинтаксический член» или «свободно-глагольный член», или что-нибудь подобное. Но все такие построения слишком длинны, а, с другой стороны, термин «второстепенное сказуемое» может быть обезврежен строго-*слитным* употреблением, т.-е. тем, что обе части термина не будут никогда разделяться, а сказуемое-глагол не будет никогда ни называться, ни мыслиться «настоящим», или «главным сказуемым», а просто — сказуемым. Практически такого слитного употребления я достиг в школе очень быстро, почему и удовлетворился этим несовершенным термином.

Рассмотрев второстепенные члены, я могу обратиться к тому, в чем я наиболее отступил от Потебни — к «составному сказуемому». В школе под этим термином понимаются обычно семь родов сочетаний: «был добр», «был добрый», «был добряк», «был добряком», «был не без доброты», «был добрее», «был не к добру». (под «не без доброты» я условно понимаю все виды употребляющихся здесь дополнений, кроме творительного предикативного, а под «не к добру» — неграмматическое наречие; вместо «был» может быть, конечно, и другая связка: «стал», «казался» и т. д.). Потебня изгнал, как известно, четыре последние типа из рубрики «составного сказуемого», оставив в ней лишь первые три: «был добр», «был добрый», «был добряк», в чем ему следует и Овсянико-Куликовский. Основанием для этого послужило то грамматически-неоспоримое соображение, что части, не согласующиеся с подлежащим, не могут войти в состав сказуемого. Однако, это налагает на учителя тяжелую обязанность убедить ученика, что, в то время как в «был добряк», «был» есть только связка, в «был добряком» оно есть полновесное сказуемое, или что в «был добр» — только связка, а в «был добрее» — полновесное сказуемое. По-моему, это резко противоречит современному синтаксическому сознанию.

Значение слова «был» в «был добр» и в «был добрее» *совершенно тождественно*, что ясно уже из того, что и в «был добрее» глагол никогда и ни при каких условиях не может иметь значение существования: как бы мы ни разделяли эти члены в мысли и в речи, мыслить здесь «*существовал* добрее» как «улыбнулся добрее» невозможно. Между «был добряк» и «был добряком» действительно сохраняется еще в этом отношении некоторая разница, выражающаяся в большей ритмической цельности первого сочетания по сравнению со вторым, в большей отделимости творительного от связки рядом других слов (удобнее сказать: «он был в таком-то году, в таком-то полку, расквартированном тогда в одной из южных губерний, *офицером*», чем «он был в таком-то году, в таком-то полку, расквартированном тогда в одной из южных губерний, *офицер*»), наконец, в возможности мыслить эти два члена в иных случаях и раздельно, т.-е. как «существовал офицером», «присутствовал в качестве офицера». Но в обычных условиях разница эта так микроскопична, что объявлять на основании ее слово «был» в «был добряком» *полным* членом предложения, сказуемым, совершенно невозможно. Ведь это все-таки совсем не то, что «он был дома», «был на пожаре» и т. д. А если в «был добряком» «был» не сказуемое, а только связка, а в то же время «добряком» не имеет никакого отношения к сказуемому, то где же тогда здесь сказуемое и что же «связывает» эта связка? Повидимому, это затрудняло и Овсянико-Куликовского, так как он, хотя и настаивает на полновесности глагола в этих случаях, однако в то же время признает особое «предикативное дополнение» («был добряком», «был не без доброты») и «предикативное обстоятельство» («был добрее», «был не к добру»), и притом не в том условном смысле, какой придавал Потебня своему «творительному предикативному», настаивавший на том, что называет его так только потому, что он *заменяет* предикативный падеж, но, как будто бы, и по существу. Если же мы сопоставим это с тем, что Потебня и свое «составное сказуемое» отнюдь не приравнивал к глаголу, а, напротив, подчеркивал, что оно состоит из связки и «предикативного *атрибута*», то получится следующая странность: сочетание связки с предикативным *определением* заслуживает названия «составного сказуемого», а сочетание той же связки с предикативным *дополнением* или *обстоятельством* его не заслуживает. Почему? «Потому, — ответил бы Потебня, — что определение согласуется с подлежащим, а дополнение и обстоятельство не согласуется». Но ведь определению *вообще* свойственно согласоваться, а дополнению и обстоятельству нет. Из чего же заключено, что определение здесь согласуется именно как вторая часть сказуемого, а не просто как определение? Здесь мы приходим к основной логической ошибке, которую допустил по-моему Потебня. Именно, из совершенно правильного положения, что всё, что не согла-

суется с подлежащим, не может быть отнесено к составу сказуемого, он молчаливо сделал обратный вывод: всё, что *согласуется* с подлежащим, может войти в состав сказуемого. Но вывод этот не верен, так как согласование с подлежащим свойственно не одному сказуемому, а и определению, относящемуся к подлежащему («*мой* отец приехал», «*царь* Петр царствовал тогда-то»). Следовательно, согласование само по себе не есть признак, вводящий данный член в состав сказуемого и, следовательно, и те три типа, которые Потебня признал «составным сказуемым» («был добр», «был добрый» и «был добряк») тоже не суть составные сказуемые. Исключение надо сделать только для «был добр», которое, как это уже теперь достаточно выяснено (см. у Потебни во введении, у Поржезинского в «Элементах», у Ушакова в «Кратком введении»), действительно может назваться составным сказуемым, но не потому, что «добр» согласуется с подлежащим, а потому, что оно имеет свою *форму сказуемости* (краткость окончания), так что здесь действительно сказуемость «составляется» из форм глагола и из формы прилагательного. Во всех же остальных случаях мы имеем просто сочетание связки и второстепенного члена (определения, дополнения или обстоятельства), психологически взявшего на себя роль сказуемого, а синтаксически лишь изменившего *отношения* к другим членам (определение отрывается от определяемого им подлежащего и притягивается к глаголу, дополнение и обстоятельство, наоборот, входят в связь с подлежащим). Сочетания эти, функционирующие в предложении как сказуемое, *но отнюдь не равные ему* ни внешне, ни внутренне, я предлагаю называть «предикативными сочетаниями», а второстепенные члены в них — «предикативными второстепенными членами» (предикативное определение: «был добр», «был добрый», предикативное приложение «был добряк», предикативное дополнение «был добряком», «был добрым», предикативное обстоятельство: «был добрее», «был не к добру»). В книге и в школе я употребляю здесь термин «сказуемостный» не из пуризма, конечно (тем более, что мой термин звучит тоже скверно), а опять-таки для того, чтобы не путать учеников: одно из двух, или называть сказуемое «предикатом», — и тогда ученику будет ясна замена его в известных случаях «предикативными сочетаниями», или называть его «сказуемым», и тогда оно должно заменяться «сказуемостными сочетаниями». Прибавлю еще, что называть одно только «был добр» составным сказуемым я не решился, тоже из чисто-педагогических соображений: ведь сочетание это тоже есть, конечно, «сказуемостное сочетание», только особого вида. Введя же термин «составное сказуемое», я бы уничтожил в представлении ученика эту подчиненность данного понятия понятию «сказуемостное сочетание», а создал бы для него соотносительность трех понятий: составное сказуемое, простое сказуемое и сказуемостное соче-

тание, что было бы неверно. Поэтому я предпочел лишь выделить эти сочетания из других сказуемостных сочетаний и назвал их условно «*грамматическими* сказуемостными сочетаниями». Таким образом, термин «составное сказуемое» совсем исчез из моего обихода, и ученики искали у меня в предложении прежде всего сказуемое или «*сказуемостное сочетание*», определяя, конечно, в последнем случае тут же те части, из которых состоит оно. Особо должен упомянуть о сочетаниях с полувещественным глаголом, как «он сидел сонный», «вырос большой» и т. д. Здесь я несколько, может быть, искусственно отделил сочетания с именительным падежом от всех остальных и только их одних признал особым видом сочетаний («вещественные сказуемостные сочетания»); во всех же остальных случаях признал глагол полновесным, не потому опять-таки, что там есть согласование, а тут нет, а потому, что здесь разница *в значении глагола* между согласуемыми и несогласуемыми случаями гораздо резче. Сравнительная степень наречия, например, здесь совсем не может сочетаться со связочным смыслом глагола, так что «он вырос больше», «он сидел тише» никогда не может значить «вырос больший», «сидел более тихий». Творительный падеж здесь *иногда* связан с побледнением значения глагола (сравн. «он глядел молодцом», «он служил предлогом»), но бывает это сравнительно редко (сравн. «сидел барином», «жил холостяком», «вырос болваном» и т. д., где я вижу полную раздельность), и никогда не достигает такой степени, как при именительном прилагательного (именительный существительного, как: «жил холостяк», «сидел барин» здесь сейчас совсем неупотребителен). Конечно, в основе дела здесь сказывается влияние согласования, которое вообще делает определение, так сказать, наиболее приспособленным к предикативной роли (недаром обороты с предикативным определением древнее почти всех оборотов с предикативным дополнением и обстоятельством). Но для данного момента это согласование важно лишь постольку, поскольку влияет на значение глагола. В этом отношении интересно сопоставить «сидел сонный» с «сидел сонным», «вернулся усталый» с «вернулся усталым» и т. д. Творительный (кстати сказать, вопреки традиционному представлению, крайне редко здесь встречающийся, а в некоторых случаях, как, например, в женском роде с ударением на конце в роде: «выросла большой», «шла босой» даже и невозможный) вносит тут, по-моему, гораздо большую раздельность, чем в «был добрым», почему я и считаю его обычным дополнением, а не сказуемостным (возможно, что это не совсем точно и вызвано лишь педагогической потребностью в разделении).

Теперь я перейду к другому виду изменений, претерпеваемых второстепенными членами, тоже самостоятельно мной разработанному. Я имею в виду то, что в школе называется «сокращенными придаточными предложениями». И тут исходным

пунктом послужили мне педагогические затруднения. Потебня и все, писавшие об этом после него, с полным основанием отвергают здесь особые «предложения» не только в настоящем, но и в прошлом языка. Но все они оставляют пустое место там, где для школы *что-нибудь* нужно, чтобы объяснить знаки препинания. Правда, и школьная теория «сокращенных предложений» не объясняет дела, так как не указывает, в каких случаях признавать «сокращение», а в каких не признавать. Но во всяком случае тут память и наблюдения ученика за *что-то* цепляются, а учитель получает возможность о *чем-то* говорить (хотя дело решается, конечно, не правилами, а чутьем), тогда как отвергнув «сокращенные предложения» и не подставив под них *ничего*, учитель даже затронуть вопроса об этих запятых не может. А между тем и Потебня, говоря о своем «приложении», отмечает обычай ставить его в запятых, как симптом особой самостоятельности такого члена, да и Овсянико-Куликовский старается объяснить все эти запятые и даже характеризует эти сочетания, как «нечто равносильное придаточному предложению» (Синтаксис, изд. 1-е, стр. 83), но при этом, к сожалению, опирается исключительно на понятие внутренней «предикативности», столь же расплывчатое у него, как и у Потебни, и совершенно не объясняющее дела, так как причастия и прилагательные, например, оказываются совершенно одинаково «предикативными» в этом смысле, а *самой* предикативной частью речи оказывается *существительное* (ведь приложение чаще всего ставится в запятых). Но у Потебни, кроме указания на предикативность, есть еще и другое указание, о котором я уже упоминал, на *тон*. Вот это-то указание и выводит нас здесь на дорогу. Потебня говорит о тоне только при приложении, но приложение ведь он понимает особенно, исключая из него «царь Петр», и подводя под него: «Петр, преобразователь России,...» «Петр, желавший преобразовать Россию,...» и «Петр, готовый преобразовать Россию,...». Ясно, что стоит только прибавить сюда: «Петр, *желая* преобразовать Россию,...» и «Петр, *в надежде* преобразовать Россию,...» где, тон *совершенно* тот же, и мы обоймем все грамматические разновидности этих сочетаний и сведем их все к одному признаку — к тону. Обратим внимание еще на двойственность интонации в таких случаях, как: «запущенный под облака, бумажный змей... кричит...» и «запущенный под облака бумажный змей... кричит...». Запятая обусловливает здесь для читателя повышение голоса, отсутствие ее — ровный тон. Или возьмем, например, такие случаи: «ведь только *издеваясь* над человеком можно предложить такую вещь», «я пошел бы на это только *зная*, что всё останется скрыто», «только прийдя *домой* он очутился один» (в последнем примере намеренно делаю исключительно-сильное ударение на «домой» и произношу совершенно слабо вторую половину фразы). Здесь чутье языка восстает против отделения запятой

самого настоящего «сокращенного обстоятельственного предложения» школьной грамматики». Сравн. также у Достоевского в «Братьях Карамазовых»: «Но это уж я говорю забегая вперед», где запятой в тексте *к счастью* нет, и фраза не искажена. Отсылая за дальнейшим материалом к соответствующей главе моей книги, я приведу здесь лишь выводы: каждый второстепенный член (*кроме инфинитива*) может при определенных синтаксических и лексических условиях (при чем для каждого члена эти условия разные и очень сложные, см. мою книгу), произноситься с повышением голоса и с самостоятельным фразным ударением, при чем и это повышение, и это ударение должны обязательно соотноситься с другим повышением и ударением того же предложения, делаемым на том слове, к которому относится данный член грамматически или, в некоторых, вполне определенных условиях, только логически. Пауза может быть, но может и не быть. Условия места не позволяют мне *описать* здесь подробно наблюденную мною ритмическо-мелодическую фигуру и все ее разновидности, и я могу только подчеркнуть, что во всех случаях, признаваемых в школе за «сокращенные придаточные предложения», а также во многих других, отмечаемых на письме запятой (приложение, особое «*поясняющее*» приложение школьных грамматик, целый ряд примыкающих дополнений), я услышал одну и ту же фигуру, и наоборот, там, где этой фигуры нет, запятая, даже при полном грамматическом тождестве с первого рода фактами, претит нам. Вот такие-то члены, произносящиеся определенным образом, я и назвал *обособленными* второстепенными членами, имея в виду, что обычно это произношение употребляется в языке для отделения придаточных *предложений* друг от друга и от главного (это также доказано в соответствующей главе книги). Таким образом «сокращенные придаточные предложения», а с ними и многие другие загадочно отделяемые запятыми сочетания оказались действительно совпадающими с отдельными придаточными предложениями, но только в одном признаке — произношении! Так и получились у меня «обособленные определения», «обособленные приложения», «обособленные дополнения» и «обособленные обстоятельства». Этим путем мне удалось объединить огромное количество фактов, разбросанных по разным отделам и в школьной грамматике и у Овсянико-Куликовского («приложения», «предицирующие определения», «предицирующие обстоятельства»), а часто и не предусматриваемые ни той ни другим, и превратить их из психологических и орфографических фактов в языковые. Можно только, может быть, спорить о том, к какой именно области языковедения они относятся, и могут ли они рассматриваться в синтаксисе. Но мне кажется, что оттенки, создаваемые, хотя бы только ритмом и интонацией, но соотносительные с определенными грамматическими фактами (а в данном случае есть соотношение, хотя и отдаленное, с *предложе-*

нием), могут, по связи с ними рассматриваться в синтаксисе. Кроме того надо заметить, что обособляющая интонация связана нередко и с *изменением конструкции*. Так, неграмматические наречия при обычных условиях не могут относиться к существительному, а при обособлении могут («*здесь консерватор*, он там является либералом», «мы говорили о NN, *вчера* еще *друге*, а *сегодня* уже *враге* моем»). Здесь интонация тесно переплетается с конструкцией, и это также говорит в защиту внесения этого рода изучений в синтаксис. Что касается педагогической стороны дела, то, конечно, чрезвычайно важно найти в языке те факты, которые пунктуация улавливает по чутью. Преподавание становится здесь на твердую и в то же время более интересную, более доступную, да едва ли и не более полезную, чем грамматическая, почву, почву *выразительного чтения*. От взгляда на уместность подобного рода изучений в синтаксисе зависит и определение тех предложений, которые Ф. Ф. Фортунатов назвал «неграмматическими». Ведь, конечно, сочетание, положим: «он лучше» произносится далеко не одинаково, являясь отдельным неграмматическим предложением или составляя часть другого предложения («он лучше работает, чем я»). Точно так же сочетания: «собака — животное умное» и «*собака, животное умное*, легко поддается дрессировке» резко различны по произношению. И если мы вслушаемся в произношение безглагольных сочетаний в тех случаях, когда они являются отдельными предложениями, то заметим, что предложениями их делает именно произношение (в описание которого я здесь не вхожу). А признав эту специальную ритмико-мелодическую форму сочетания, соотносительную по значению с определенными грамматическими фактами, за вспомогательный синтаксический признак (подобно тому как, например, общепризнанным синтаксическим признаком является при тех же условиях порядок слов), мы придем к тому, что абсолютно-неграмматических предложений в языке не окажется вовсе. Ведь даже такие предложения, как «пожар!», «воры!» и т. д. различаются нами в речи, как *предложения*, конечно, опять-таки с помощью ритмико-мелодических средств. Что же касается различения грамматических частей в таких предложениях, то сочетания типов: «он добр», «он добрый», «он добряк», «он добрее», «он не без доброты», «он не к добру» могли бы быть, мне кажется, поставлены в параллель с соответствующими связочными типами предложений («отрицательная» связка), а сочетания типа: «ногу в стремя, а лошадь на дыбы, он об землю — и прямо в темя» (Гриб.) — с обычными глагольными предложениями. Только в предложениях типа «пожар!», как бы они ни были распространены зависящими от этого именительного членами, я затрудняюсь найти определенное соотношение с глагольным типом, почему и предлагаю выделить этот тип, условно назвав его «неграмматическим».

Классификация знаменательных членов предложения должна дополниться в синтаксисе классификацией служебных членов, которые все (кроме глаголов-связок) бесформенны и которым поэтому не должно быть места в морфологии (на том же настаивает и Кудрявский, в цитировавшейся уже статье, допускающий лишь в виде уступки традиции параллельное их рассмотрение, как частей речи и частей предложения). Самую классификацию я беру целиком из курсов Ф. Ф. Фортунатова, прибавляя лишь некоторые термины и один (последний) разряд из Овсянико-Куликовского. Получается семь разрядов служебных членов: 1) предлоги, или связки дополнений, 2) союзы, которые служат то связками однородных членов слитного предложения, то связками предложений, 3) глаголы-связки, 4) усилительные служебные члены (как «даже», «ведь» и т. д.). 5) вопросительные служебные члены (как «ли», «разве»), 6) отрицательные служебные члены («не» и «ни»), 7) повелительные служебные члены (как «ка» в «дай-ка», «пусть»). В педагогическом отношении синтаксические термины Овсянико-Куликовского («связка дополнений», «связка однородных членов», «связка предложений») представляются мне весьма ценными по своей ясности и простоте. Поэтому, исключая все эти слова из частей речи, можно бы, думается мне, отказаться и от традиционных «предлогов» и «союзов», от первых навсегда, а от вторых до той поры, пока ученики сами не заметят словарного и функционального сходства связок однородных членов с некоторыми связками предложений и не ощутят потребности назвать их общим именем. В разряде усилительных слов есть много слов, стоящих как бы посредине между частичными и полными словами и заключающих в себе, кроме усиления, еще какой-нибудь самостоятельный оттенок («уже», «еще», «только», «лишь», «еле», «едва» и т. д.). Овсянико-Куликовский называл их сначала «определительными обстоятельствами», а потом (в учебнике, составленном вместе с П. Н. Сакулиным) «обстоятельствами-частицами». Второе название, конечно, точнее, но и оно подойдет только к тем из них, которые сохраняют ясную связь с глаголом и к существительному совсем не могут относиться (например «еле»). Такие же, которые могут примыкать ко всякому члену предложения, выражающему психологическое сказуемое (например, «только»: «только он может это сделать», «он может сделать только это»), не могут быть названы обстоятельствами, а только частицами, при чем весьма возможно, что названия «усилительные» здесь недостаточно, необходимы еще такие названия, как «ограничительные», «увеличительные», «уменьшительные» и т. д. Общим термином для всех таких слов могли бы тогда служить «выделительные слова».

Одного из фортунатовских разрядов частичных слов не хватает в этой классификации, так как их приходится отнести к другой большой синтаксической категории — словам, стоящим

вне предложения. Я имею в виду слова, выражающие отношение говорящего к высказываемой мысли (как: «да», «нет», «конечно») или как особую разновидность этого разряда, слова, выделяющие мысль как чужую («мол», «де», «говорят»). Слова эти синтаксически приходится отнести к вводным словам и сочетаниям, которые параллельно с междометиями и звательными словами и сочетаниями и образуют широкую группу «слов и сочетаний, стоящих вне предложения».

Переходя к отделу о *видах предложений*, я коснусь прежде всего вопроса о *слитных* предложениях, где мною также кое-что изменено. Школьная грамматика определяет слитное предложение как предложение с однородными членами, а однородными она считает члены одного *наименования*, т.-е. дополнения между собой, определения между собой и т. д. Овсянико-Куликовский определяет слитное предложение уже более грамматично, как предложение с внутренними союзами; относительно же того, какие именно члены соединяются союзами, держится школьной точки зрения, т.-е. считает, что всегда соединяются члены одного синтаксического наименования. При этом он упускает из виду два затруднения: 1) практика принуждает школьника считать слитными предложениями в некоторых случаях и бессоюзные предложения («гибли молодость, сила, здоровье», «он удручен годами, войной, заботами, трудами»), 2) при *грамматической* классификации второстепенных членов, союзы соединяют на каждом шагу члены *неодинакового* наименования (например, «он говорил громко и с ударением» — обстоятельство с дополнением, «шляпа большая и с пером» — определение с дополнением и т. д.). Начну со второго затруднения. Оно проистекает по-моему из того, что однородность членов рассматривается *отдельно* от самого значения союзов в предложении как нечто, свойственное как будто бы членам предложения самим по себе, тогда как на самом деле в современном языке самое значение союза внутри предложения сводится именно к установлению однородности между соединяемыми членами. Не те члены соединяются союзом, которые однородны, а те члены однородны, которые соединены союзом. В этом легче всего убедиться на случаях, где соединяемые члены как раз сами по себе ни грамматически, ни логически не однородны. Возьмем пример из «Детства, отрочества и юности» Л. Толстого: «Он... очень быстро и в разных направлениях шевелил пальцами». Здесь не только грамматической, но и логической связи между членами нет никакой (скорость и направление движения). Однако, сравнивая это предложение с бессоюзным («он очень быстро в разных направлениях шевелил пальцами»), замечаем, что без союза мы мыслим эти два признака раздельно вне всякого отношения их друг к другу, а при союзе слитно, как в чем-то параллельные, чем-то внутренне объединенные, чем-то однородные. Но в чем же они кажутся нам однородными,

чем объединяются в нашем представлении? Они объединяются, как гармонирующие между собой *признаки* «шевеления пальцами». Здесь мы вникаем в самую сущность выражаемой союзом однородности. В предложении бессоюзном: «он быстро в разных направлениях шевелил пальцами» оба эти члена тоже одинаково подчинены сказуемому «шевелил», и, следовательно, тоже оба мыслятся в соотношении с ним. Но самое *совпадение*-то их в этом отношении отдельно не выражено и не мыслится. В союзном же предложении оно мыслится, и выражением этого и является союз. Отсюда у меня получается такое определение значения союза внутри предложения: союз выражает *однородность двух представлений по отношению к третьему.* Что касается условий, создающих самую возможность мыслить два языковых представления, как однородные по отношению к третьему, то они, по крайней мере для настоящего времени, лежат вне языка, в до-языковом мышлении. Весьма возможно, что первоначально, когда создавались самые союзы, условия эти лежали в языке, и употребление союзов зависело от грамматической однородности соединяемых членов. Теперь же союз, как всякая окончательно выработавшаяся форма, может накладываться на любое психическое содержание, т.-е. выражать соединение любых представлений, если только они в предыдущем опыте объединены третьим, посредствующим представлением. При этом каждое из слов, соединенных союзом, несет на себе свое отдельное фразное ударение. Это приводит нас к другой стороне слитных предложений, ритмико-мелодической, способной, как мне кажется, устранить первое из упоминавшихся ранее затруднений (необходимость считаться с параллельными бессоюзными предложениями). Члены, соединенные союзом, произносятся всегда с ударениями *равной силы* и по возможности *равного тона* (сравн. в этом отношении: «в лесу ночной порой и лютый *зверь*, и дикий *человек*, и *леший* бродит», «и *месяц*, и *звезды*, и *тучи* толпой внимали той песне святой»). Этот ритмическо-мелодический признак может и *сам по себе, без союза* выражать однородность членов, и это всегда бывает в тех слитных предложениях, в которых однородными сознаются несколько членов, а союзом соединены только два последних (обычный тип слитных предложений: «я купил масла, сыра, хлеба и конфект»). На месте союза может быть кроме того и пауза, хотя, при наличности хотя бы *одного* союза в предложении, она еще не является необходимым средством выражения. К этим-то предложениям и примыкают тесно совсем бессоюзные предложения типа: «гибли молодость, сила, здоровье». При этом в связи с полным отсутствием союзов становится необходимой, повидимому, и пауза на месте союза, как средство выражения однородности (сравн. «червонец был запачкан, в пыли» и «червонец был запачкан в пыли», «не видно было камышей, плотины» и «не видно было камышей плотины»). Предложения эти я, не только в интересах орфо-

графии, но и по существу, не считаю возможным оторвать от союзных предложений, и таким образом у меня получается следующее определение слитного предложения: слитное предложение есть предложение с такими членами, которые соединены или *могли бы* быть в связи с определенными условиями интонации и ритма соединены союзом. Практические последствия такого понимания слитного предложения, конечно, те же, что и в отделе об обособленных второстепенных членах: сведе́ние обучения пунктуации к обучению выразительному чтению. Кроме того здесь есть один частный практический вывод и для грамматической методы обучения: на место правила о том, что прилагательные бывают однородными только *вещественно*, т.-е. если выражают один и тот же род признаков, становится правило, что однородными будут те прилагательные, которые можно мысленно соединить союзом, или в еще более детской форме: «если возможен союз, а его нет, ставь запятую». Под это правило подойдут уже все случаи, так как оно вытекает из сути дела (сравн. у Никитина в «Дневнике семинариста»: «далее дошло дело до серебряной ложки, похожей на лодочку, тогда как я привык обходиться деревянною, круглою», последняя запятая школьным правилом не обосновывается, а моим обосновывается).

Но всем этим не исчерпываются еще затруднения со слитными предложениями. Ритмико-мелодические особенности их показывают нам, что *психологически* каждое слитное предложение есть выражение *нескольких* мыслей, именно стольких, сколько в нем однородных членов. Это сближает *психологически* слитное предложение со сложным, т.-е. с сочетанием предложений, а так как самое понятие «предложения» неотделимо, повидимому, в конце концов от психологии, то эта сторона дела врывается так сказать и в языковую сторону, превращая слитное предложение в нечто среднее между предложением и сочетанием предложений и представляющее целую скалу от одного к другому. На одном конце этой скалы стоят такие сочетания, как: «он быстро и в разных направлениях шевелил пальцами», «в сухом и чистом воздухе пахнет рожью», где невозможно видеть несколько предложений, а на другом конце, такие, как: «могучий Олег головою поник и думает», или: «прибежали в избу дети, второпях зовут отца», где трудно примириться с тем, что это одно предложение. Правда, на это можно возразить, что всё зависит от того, какое сочетание условиться считать в данном языке предложением. Но это только в том случае, если не различать полных и неполных предложений. Если же различать их (а это, повидимому, неизбежно именно вследствие психологического корня самого понятия «предложение»), то «неполное предложение» берет нас в плен своими услугами: во всяком слитном предложении можно один однородный член со всеми его подчиняющими считать пол-

ным предложением, а все остальные однородные члены неполными предложениями, заимствующими все остальное из первого предложения. Если в таких случаях, как: «в сухом и чистом воздухе пахнет рожью», это нам и покажется абсурдным, то, например, в таком, как «я звал его, а не тебя» это кажется уже вполне возможным. Так и толкует дело, например, В. А. Богородицкий, который в своем «Общем курсе русской грамматики» всецело приравнивает слитное предложение к сложному («сложные предложения могут состоять: 1) из равноправных предложений, например, я читаю, а ты играешь, при этом если имеются общие члены в том и другом, то они согласно принципу экономии могут не повторяться, например, «брат сидит и читает» (такие предложения получили наименование слитных); 2) из неравноправных предложений...», изд. 4-е, стр. 319). По отношению к *сказуемому* на той же точке зрения стоит и А. И. Томсон, видящий в сочетании «он пришел и сказал» два предложения, полное и неполное, и даже устанавливающий на этом примере самое понятие неполного предложения («Общее языковедение», изд. 1-е, стр. 301). На диаметрально-противоположной точке зрения, вероятно, под влиянием традиции (ибо психологический метод должен бы влечь его в другую сторону), стоит Овсянико-Куликовский, видящий во *всех* этих случаях *одно* слитное предложение. Наконец, Ф. Ф. Фортунатов, не разбираясь в вопросе детально, признавал вообще двоякую функцию союзов внутри предложений и между предложениями. Спрашивается, как выпутаться из всех этих затруднений? Мне казалось, что наиболее *грамматическим* разрешением вопроса будет признание нескольких предложений в случае нескольких сказуемых и одного слитного предложения во всех остальных случаях. Что несколько сказуемых не могут составить одного предложения, этого я не считаю нужным здесь доказывать и подчеркну только по этому поводу те затруднения и искажения, которые создаются в школьной грамматике объединением нескольких сказуемых в одном слитном предложении: 1) необходимость при повелительном наклонении всегда, вопреки употреблению, вставлять «ты» («прийди и возьми»), так как при слитности необходимо ведь *одно общее подлежащее*, 2) необходимость даже при неопределенно-личных сказуемых подразумевать какое-то общее подлежащее («*глядишь и не знаешь*, идет или не идет его величавая ширина», *говорят и уверяют*, что...»). Гораздо более нуждается в обосновании мой второй тезис, что во всех остальных случаях мы имеем одно предложение. Здесь я имею в виду невозможность обосновать дело на *одной* интонации, а в конце концов дело свелось бы к ней одной. В сочетании, например, «я зову не его, а тебя» раздельность гораздо больше, чем в сочетании: «я зову его и тебя». Но прикрепить это различие к противительным и соединительным союзам невозможно, так как, например, один и тот же союз «или»

может употребляться и с той и с другой интонацией (с разницей значений, конечно): «я зову его или тебя» и «я зову его, или тебя» (запятой обозначаю повышение голоса). Кроме того тут важно и то, что те же два вида границ («повышательная» и «однотонная») встречаются и в *сложном предложении,* о чем будет речь ниже. Таким образом никакого критерия для различения в одних случаях слитности, а в других сложности, здесь нет. Единственное исключение, может быть, следовало бы сделать только для таких случаев, как: («люблю я родину, но странною любовью», «она его любит, и очень даже», «мы с ним видались, и часто»). Но здесь функция союза явно изменена, он не выражает уже объединения двух элементов по отношению к одному и тому же третьему, и вторая часть сочетания явно сбивается на отдельное неполное предложение.

Скажу еще несколько слов о безличных и о неполных предложениях.

Безличными предложениями я называю только предложения с безличным или внутренне уподобленным безличному глаголом («светает», «спится», «дует!»), выводя их значение из неполной соотносительности такой формы глагола с формами лица. Предложения типов «говорят» и «тише едешь, дальше будешь» я сближаю больше с личными, называя первый тип «неопределенно-личными предложениями», а второй—«обобщенно-личными». Во втором типе самое опущение подлежащего не является существенным, так как такие же предложения встречаются и с подлежащим («не выходит, хоть ты что хочешь, делай!»), а существенно лишь обобщенное значение формы лица (сравн. «еду-еду следу нету», «охотно мы дарим, что нам ненадобно самим», «ищите и дастся вам», «от кого чают, того и величают», где так же обобщены другие лица). Теории Овсянико-Куликовского о 5 лицах в глаголе я не принимаю, не только вследствие оторванности ее от звуковой стороны языка, но и потому, что и по значению его 5 лиц несоотносительны друг с другом: ведь «говорят» по значению есть видоизмененное *3-е* лицо, «тише едешь — дальше будешь»— видоизмененное *2-е* лицо, «светает» видоизмененное *3-е* лицо, и, следовательно, все эти значения никак не могут быть соотносительны с основными значениями трех лиц.

Полные и неполные предложения я различаю не только по отношению к процессу мысли, но и по отношению к тем или иным формам сочетаний русского языка, т.-е. чисто-грамматически. Мне кажется, что такое различение необходимо для конкретного определения полноты или неполноты предложения, так как и «травка зеленеет», «солнышко блестит» могут быть по отношению к процессу мысли неполными (сравн. «это дверь скрипнула» для объяснения звука, где представление о звуке — психологическое подлежащее, а всё предложение — психологическое сказуемое). И всякий, кто говорит, что «дверь скрип-

нула» — полное предложение, очевидно, опирается, большей частью молчаливо, на какой-то другой критерий, *не* психологический. Критерий этот чисто языковой, т.-е. одни формы сочетаний признаются нормальными, полными, другие — деффективными по отношению к первым, ненормальными, неполными. В частностях здесь возможны разногласия. Я причислил к неполным предложениям не только предложения без сказуемого или без подлежащего (кроме безличных, конечно), но и без управляемого дополнения, т.-е. типа: «он настаивает», «он говорил», «я обещаю» и т.-д., имея в виду, что те же глаголы могут сознаваться и как *непереходные* (сравн. «он целый день говорил», «он только и делает, что обещает, да что толку») и, следовательно, «он говорил» может иметь два разных значения (с опущенным дополнением и без него). Разницу эту удобнее всего выразить, признав один случай полным предложением, а другой — неполным. Согласно с этим полное личное предложение определится для русского языка как «именительный падеж имени + согласуемый с ним непереходный глагол» или: «именительный падеж имени + согласуемый с ним переходный глагол + косвенный падеж имени с предлогом или без него». Безличное предложение психологически почти всегда неполно, но грамматически, как специальный шаблон речимысли, *не мирящийся* с подлежащим, должно быть признано по-моему полным и определяться, как «несогласуемый ни с чем глагол» (переходный или непереходный, т.-е. с дополнением или без него). На месте непереходного глагола может быть, конечно, всегда сказуемостное сочетание определенных типов. Предложения типов — «иду» «идешь» и даже «тише едешь, дальше будешь» я решительно считаю неполными, предложения типа «говорят» тоже склонен теперь относить к неполным, хотя и менее решительно. Само собой разумеется, что эти два последних типа не сливаются с обычными неполными предложениями, так как остаются все-таки «неполными неопределенно-личными» и «неполными обобщенно-личными».

Мне остается рассмотреть еще один большой отдел синтаксиса—сочетание *предложений*. Но этот отдел настолько неразработан в науке, что о нем много говорить не приходится. С другой стороны, должен предупредить, что в этой области я поневоле буду, вероятно, слишком субъективен, так как здесь мне не на кого было опереться. А ведь в школьной программе этот отдел занимает ровно половину курса! Главнейшие затруднения представляют здесь следующие пункты: 1) понятие сложного предложения, 2) понятие подчинения и сочинения предложений, 3) классификация придаточных предложений. Определение понятия сложного предложения затрудняется тем, что наличность союза между предложениями еще не обусловливает объединения их в одно сложное предложение. Ведь союз бывает и после точки, и если мы такую точку не сочтем границей между пред-

ложениями, то у нас целые страницы могут превратиться в одно сложное предложение. Овсянико-Куликовский говорит здесь о «синтаксической *паузе*», но при этом подчеркивает, что паузы фактически может и *не быть* («мнимая пауза» или «фикция паузы», изд. 1-е, стр. 297), и в то же время решительно отделяет эту паузу от *содержания* речи, говоря, что она может и не вызываться логической стороной дела. Спрашивается, как же *распознать* эту паузу, и как в языке распознается она? Ведь такого психологического элемента, который бы не имел решительно никакого внешнего коррелятива, вообще не может быть в языке, по той простой причине, что он бы не был понят, существовал бы только для говорящего, а не для слушающего, а тем самым исключался бы из процесса речи, по существу взаимного. Да Овсянико-Куликовский и сам говорит тут об особом «*симптоме*», особом «*символе*» отсутствия связи между предложениями (ibid.), т.-е. о каком-то *показателе*, и очевидно, вся задача в том, чтобы найти этот языковой показатель. На него натолкнул меня Д. Н. Ушаков в одной из наших бесчисленных бесед, указавши на понижение голоса. Мне оставалось только детализировать эту мысль. В самом деле, что фразное понижение голоса имеет в языке *заключительное* значение, в этом, конечно, невозможно сомневаться, так же как в том, что фразное повышение (исключая вопросительный тип) имеет противоположное «неокончательное значение», т.-е. предупреждает, что речь-мысль не кончена. Нужно было только поискать, нет ли в нашем языке другого рода фразных понижений, *не* заключительных, чтобы отделить одни от других. Такое понижение я нашел при двоеточии («части речи суть следующие:...», «имею честь представиться:...» и т. д.), логически совершенно необъяснимом, так как оно обнимает целый ряд совершенно разнородных случаев (перечисление, называние, причинность, цитата), а психологически вполне понятном, как знак *предупреждения*. Таким образом здесь понижение однородно по смыслу с повышением в придаточных приложениях, т.-е. имеет «неокончательное» значение. Само собой разумеется, что это резко выражается особыми специфическими признаками такого понижения, во-первых, величиной интервала (он значительно меньше, чем при заключительном понижении) и, во-вторых, специальным чрезвычайно характерным *ритмом* фразы, который подробно описан в моей «Школьной и научной грамматике» в главе о знаках препинания, и на котором я не могу сейчас останавливаться. Могу только сказать, что по своему значению этот ритм может быть охарактеризован, как «неспокойный», в отличие от «спокойного» ритма при заключительном понижении. Есть и еще один случай, который должен быть оговорен: это случай такого вопросительного предложения, в котором психологическое сказуемое, т.-е. центр вопроса, стоит *на конце* («ты был вчера в *театре?*», «ты *здесь?*»). Здесь, очевидно, по самым условиям вопросительной интонации фраза заканчивается

самым верхним тоном (даже последний *неударяемый* слог здесь выше ударяемого), но это повышение, конечно, никак не может быть приравнено к повышению внутри сложного предложения, так как: 1) интервал здесь большой и специфически вопросительный, 2) в связи с величиной интервала, физиологически необходима исключительная по долготе *пауза*, чтобы голос мог перейти снова на обычные ноты. «Нет дома? Так я подожду» — сказать эти два предложения плавно и сохранить при этом вопрос невозможно. Эта-то пауза (уже никогда не «мнимая») и является здесь разделительным средством. Итак, оговорив эти два случая, мы можем считать понижение голоса в связи с соответствующим ритмическим разделом (конечно, могущим при быстром темпе речи и не дойти до полной паузы) признаком *заключительным* в языке и этим разграничить сложные предложения друг от друга. Этот ритмико-мелодический момент я условно назвал в книге «разделительная пауза». (Лучше бы, пожалуй, «заключительная пауза»). Названия же Овсянико-Куликовского «синтаксическая пауза» я избегаю потому, что оно слишком обще. Именно, Овсянико-Куликовский упустил из виду, что паузы возможны и внутри сложного предложения, притом паузы *фактические* и в то же время по своему значению *синтаксические*. Я имею в виду паузы, аналогичные паузам внутри слитного предложения, т.-е. связанные с отсутствием союза («он пришел, экипаж подкатил к крыльцу, и мы поехали»), при чем и здесь при *полном* бессоюзии всего сочетания пауза становится необходимым средством выражения («он пришел, экипаж подкатил к крыльцу, мы поехали», сказать без единой паузы и без понижения невозможно). С обязательной паузой связана и фигура двоеточия. Возможна пауза и при подчинительном (по интонации) бессоюзии («не будет дома, — я подожду»). Все такие паузы я назвал «союзными» или «соединительными» паузами, что дало в итоге следующее определение сложного предложения: «сложное предложение есть сочетание предложений, соединенных союзами, союзными словами или союзными синтаксическими паузами и неразъединенных разделительными синтаксическими паузами».

Отграничить подчинение предложений от сочинения на основании специально-синтаксических внешних признаков казалось мне невозможным, так как и то и другое выражается у нас одними и теми же грамматическими средствами (союзы, союзные слова). Интонация тут тоже непоказательна, так как повышение, характерное вообще для подчинения, возможно и при сочинении (именно при противительных союзах). Признать подчиненным предложением такое, которое не может употребляться отдельно, по-моему, нельзя, так как придаточные предложения очень часто употребляются отдельно («Зачем ты здесь?» — «*Чтобы получить жалованье*!» — «Сегодня ты ничего не получишь!.. *Потому что у меня нету*!.. *Так что можешь ухо-*

дить!.. Хотя, впрочем, постой!..» и т. д., случай, который я называю «неполным сложным предложением»). Если же ссылаться на то, что отсутствие главного предложения здесь ощущается, что речь сознается как неполная, то ведь и при сочинительном союзе после точки отсутствие чего-то ощущается, и там союз отсылает нашу мысль к предыдущему. Можно было бы еще указать на то, что подчинительные союзы употребляются только в сложном предложении, а сочинительные и в сложном и в слитном. Но, во-первых, самые границы между сложным и слитным предложением грамматически не так уж определенны, а, во-вторых (и это самое важное), подчинительные союзы могут переноситься и в слитное предложение («я хватаюсь за первый, *если* и неудобный, то всё же возможный случай», «я видел *хотя* и не его, но его брата», даже иногда с «потому что»: «эта последняя версия, наиболее для него приятная, *потому что* новая, была им распространяема ревностно»).

Всё это заставило меня обосновать подчинение и сочинение на лексическом признаке—значении союза. Конечно, от этого этот признак отнюдь не становится логическим. Если мы возьмем, например, такие два союза, как «хотя» и «но», то они *логически* будут совершенно однородны (противоположение), тогда как с язычно-психологической точки зрения мы замечаем в союзе «хотя» известную особенность: он отсылает нашу мысль к чему-то уже продуманному, к чему-то уже стоявшему в центре внимания, или, наоборот, к чему-то такому, что сейчас займет центр внимания. Конечно, в нем, как во всяком союзе, есть указание и на предыдущее и на дальнейшее, но есть в нем и какая-то неуравновешенность этих двух указаний, какая-то невозможность мыслить их одновременно. При слове «хотя» мы обращаемся мыслью *то* к предыдущему, *то* к последующему, напротив, в слове «но» мы замечаем оттенок полной *одновременности* обеих мыслей в процессе противоположения, полного психического *равновесия* их. Как форма времени в глаголе обозначает различие в отношениях времени действия ко времени речи-мысли, т.-е. в сущности к определенному моменту сознания говорящего, так и эти две разновидности союзов обозначают различия в отношениях соединяемых мыслей, как психологических моментов, к моменту самого *соединения* их, т.-е. опять-таки к определенному моменту сознания говорящего. Если в момент соединения сознаются и *оба* соединяемых элемента, получается сочинение, если же сознается с ясностью лишь один из них — подчинение. Сравним еще, оставаясь всё при той же логической категории, союз «тогда как». Это союз тоже чисто противительный (во временном смысле он сейчас совершенно не употребляется). Однако, и тут опять заметен сдвиг внимания то к предыдущему, то к последующему. Такую же разницу мы найдем, при полной логической однородности, между «или» и «если», между «итак» и «так что» и т. д. При этом оттенок

одновременности в процессе соединения я не считаю особым оттенком, так как он входит в самое понятие соединения. Поэтому положительное определение выпадает на долю только подчинения, как такого соединения предложений, при котором в значении союза есть признаки несовпадения моментов обеих соединяемых мыслей с моментом соединения их. Сочинение же определится отрицательно, как соединение с помощью союзов, не имеющих этой особенности в значении. Такое понимание подчинения и сочинения, субъективность и спорность которого я вполне признаю, подтверждается, как мне кажется, еще и тем, что и частные значения подчинительных союзов все связаны именно с *неодновременностью* моментов внимания по отношению к обеим мыслям (сравнение, причинность, уступление, цель, следствие и т. д.). В школе, понятно, нужно избрать только такой признак отличия подчинения от сочинения, по которому ученик *сам* мог бы различить их. Заучивания всех союзов обоих разрядов с последующим механическим отделением одних от других, конечно, не должно быть. Поэтому, если внутренняя сторона дела оказалась бы в данных конкретных условиях непосильной, то следует, мне кажется, ухватиться за внешний признак—слитное предложение, тем более, что подчинительные союзы в нем бывают как-никак крайне редко. И можно указать, что союзы слитного предложения, соединяя в нем *равноправные* члены, выполняют ту же функцию и между предложениями. Все остальные союзы тем самым определятся, как показатели неравноправности [1]).

Последний из намеченных мною выше вопросов в области синтаксиса сложного предложения—вопрос о классификации придаточных предложений. Здесь я всецело примыкаю к Овсянико-Куликовскому, классифицирующему предложения исключительно по роду соединительных элементов (подчинение относительное и неотносительное). Самых союзов он не классифицирует. У меня есть попытка расклассифицировать их по значениям, попытка, конечно, весьма несовершенная, потому что первая (9 рубрик: союзы причинные, уступительные, сравнительные, изъяснительные, пояснительные, условные, временные, цели и следствия). Вопроса о соотношении придаточных предложений с членами простого

---

[1]) Весьма возможно, что дальнейшее изучение ритмико-мелодической стороны сложного предложения откроет и определенную произносительную разницу между подчинением и сочинением предложений. Так, сравнивая по интонации: «хоть он и обещал, но не пришел» и: «он обещал, но не пришел» мы замечаем, что в первом случае возможно бо́льшее повышение, чем во втором, что связано, быть может, со специальным «*подчинительно*-восходящим» типом произношения. Кроме того и ритм, кажется, следует за указанной разницей в значении союзов, т.-е. при подчинительном союзе предложение, стоящее в центре внимания (безразлично, главное или придаточное), ритмически преобладает над другим, чего при сочинении не замечается. Но во всяком случае признаки эти так детальны, что вряд ли их когда-либо можно будет ввести в школу.

предложения он не касается, очевидно, не видя тут никакого соотношения. На той же точке зрения стою и я, но считаю нужным подчеркнуть ее, так как традиционное сопоставление придаточных предложений с членами отдельного предложения встречается, как непроверенное общее место, и в некоторых вполне научных трудах (сравн. у Вондрака, у Богородицкого). Собственно говоря, отсутствие здесь соотношения можно бы и не доказывать, так как обязанность доказать, очевидно, лежит на тех, кто думает, что такое соотношение есть (кроме как с помощью вопросов оно еще *никогда никем* не было доказано). Но мне казалось полезным все-таки указать на то, что, не говоря уж о полной *внешней* разнице выражения того и другого рода отношений (внутри предложения формы слов, между предложениями союзы) и самые *значения* здесь совершенно различны. К значению, например, родительного или винительного падежа дополнения или к значению подлежащего нельзя решительно подобрать ничего сходного в области союзов и, наоборот, в области значения падежей нельзя ничего подобрать, что бы соответствовало значению пояснительных, уступительных, условных, следственных союзов. Что генетически та и другая область ничем не связаны, это уж теперь достаточно известно. Но я хотел бы подчеркнуть, что и с точки зрения тех современных *значений*, которые получились в результате того и другого процесса (образования форм слов и развития союзов), никакой систематизирующей связи показать нельзя. Сочетание слов и сочетание предложений так же мало похожи друг на друга внутренне, как и внешне. Единственная параллель, которую я здесь нахожу, это—возможность для глагола главного предложения относить свои формы согласования, обычно средний род, *ко всему содержанию* придаточного предложения («было ясно, что он опоздает»), а также и свое *управление* («он допустил, что продали имение»). С этой точки зрения можно было бы говорить о «предложениях подлежащих» и «предложениях дополнительных» (может быть и о «сказуемостных» предложениях: «первая моя мысль была, *что я опоздал*»), но и то с большой натяжкой, так как обычно глагол (или связка) относится ко *всему* последующему во всей его психологической и речевой цельности, а не к какому-либо отдельному предложению, как таковому («было ясно, что, когда он придет и не застанет меня дома, ему скажут. . .» и т. д. и т. д.). Для установления же предложений «определительных» и «обстоятельственных» нет уже никакого грамматического основания.

Объективная и нормативная точка зрения на язык.

Объективной точкой зрения на предмет следует считать такую точку зрения, при которой эмоциональное и волевое отношение к предмету совершенно отсутствует, а присутствует только одно отношение—*познавательное*. Ни чувство, ни воля, конечно, не исчезают при этом, но они как бы переливаются целиком в познавание. Человек не хочет ничего от изучаемого предмета ни для себя, ни для других, а он хочет только его познать. Он не испытывает от него самого ни удовольствия, ни неудовольствия, а испытывает только величайшее удовольствие от его познания. Так как эмоционально-волевое отношение тесно связано с оценкой предмета, то отсутствие *оценки*—первый признак объективного рассмотрения предмета. Такова точка зрения наук математических и естественных. Понятия прогресса и совершенства абсолютно невозможны в математических науках. В естественных науках они, правда, уже имеют применение, но в чисто-эволюционном смысле. Когда говорят, что цветковые растения совершеннее папоротников, папоротники совершеннее лиственных мхов и т. д., то имеют в виду только то, что первые *сложнее* вторых, что в них части (органы и клетки) более *дифференцированы*, а никак не то, что первые в каком-либо отношении *лучше* вторых.

Если подходить к науке о языке с этим различением субъективного и объективного, то языковедение окажется наукой не гуманитарной, а *естественной*. Понятие языкового прогресса в нем целиком заменяется понятием языковой эволюции. Если в начальном периоде нашей науки и были оживленные споры о преимуществах тех или иных языков или групп языков друг перед другом (например, синтетических пред аналитическими), то в настоящее время эти споры приумолкли[1]). Совершенно так же, как зоолог и ботаник в конце концов вынуждены признать *каждое* животное и растение совершенством в своем роде, в смысле

[1]) См., впрочем, Otto Jespersen. Progress in language with special reference to english, 1909, где утверждается обратное преимущество анализа над синтезом.

идеального приспособления к окружающей среде, так же и современный лингвист признает каждый язык совершенным применительно к тому национальному духу, который в нем выразился. И не только к целым языкам, но и к отдельным языковым фактам лингвист, как таковой, может относиться в настоящее время только объективно-познавательно. Для него нет в *процессе изучения* (заранее подчеркиваю это условие в виду всего последующего) ни «правильного» и «неправильного» в языке, ни «красивого» и «некрасивого», ни «удачного» и «неудачного» и т. д., и т. д. В мире слов и звуков для него нет правых и виноватых. Как пушкинский «дьяк в приказах поседелый», он

Спокойно зрит на правых и виновных,
Добру и злу внимая равнодушно,
Не ведая ни жалости, ни гнева...

с той лишь разницей, что и в конечном итоге он ни одного факта не осудит, а лишь *изучит*. Эта точка зрения, для современного лингвиста сама собою подразумевающаяся, столь чужда широкой публике, что я считаю нелишним иллюстрировать это объективное отношение на отдельных конкретных примерах, чтобы читатель видел, что оно возможно по отношению ко всякому языковому факту, хотя бы даже вызывающему глубокое негодование или гомерический смех у каждого интеллигента, в том числе и у лингвиста вне его исследовательских задач.

Прежде всего, по отношению ко всему народному языку (т.-е., например, для руссиста *ко всему* русскому языку, кроме его литературного наречия), у лингвиста, конечно, не может быть той наивной точки зрения неспециалиста, по которой все особенности народной речи объясняются *порчей* литературного языка. Ведь такое понимание приводит к взгляду, что народные наречия образуются из литературных, а этого в настоящее время не допустил бы в сущности и ни один профан, если бы он хоть на одну минуту задержался мыслью на предмете, по которому принято скользить. Слишком уж очевидно, что и до возникновения литератур существовали народы, что эти народы на каких-то языках говорили, и что литературы при своем зарождении могли воспользоваться только этими языками и ничем другим. Таким образом, современные, например, русские наречия и говоры есть для лингвиста только потомки более древних наречий и говоров русских, эти последние—потомки еще более древних и т. д., и т. д. вплоть до самого момента распадения русского языка на наречия и говоры, а литературное наречие есть *лишь одно* из этих областных наречий, обособившееся в своей истории, испытавшее, благодаря своей «литературности», более *сложную* эволюцию, вобравшее в себя целый ряд чужеродных элементов и зажившее своей особой, в значительной мере, *неестественной*, с точки зрения общих законов развития языка,

жизнью. Понятно, что народные наречия и говоры не только не могут игнорироваться при таких условиях лингвистом, а, напротив, они для него и составляют главный и наиболее захватывающий, наиболее раскрывающий тайны языковой жизни объект исследования, подобно тому как ботаник всегда предпочтет изучение луга изучению оранжереи. Таким образом, какое-нибудь «вчерась» будет для него не испорченным «вчера», а образованием чрезвычайно древнего типа, аналогичным древне-церковно-славянскому «днесь» («дьньсь»), древнерусскому и современному «здесь» («сьдесь»), современным народным: «летось», «лонись», «ономнясь» и др., составившимся из родительного падежа слова «вечер» с особой формой основы («вьчера») и *указательного* местоимения «сь» (равняется современному «сей», ср. аналогичные французские образования «ceci» и «celà»); какое-нибудь «купалси», «напилси» не будет испорченным «купался», «напился», а будет остатком чрезвычайно древнего (общеславянского и, м. б., даже балтийско-славянского) образования возвратной формы с дательным падежом возвратного местоимения (древнерусское и древнецерковно-славянское «си» = себе); какие-нибудь «пекёт», «текёт», «бегит», «сидю», «видю», «пустю» не вызовут в нем улыбки, а наведут его на глубокие размышления о влиянии 1-го лица ед. числа на остальные лица всех чисел и об обратных влияниях последних на 1-е, об удельном весе того и других в процессе языковых ассоциаций и т. д. Есть, конечно, в народных говорах и не самородные факты, а заимствованные из литературного наречия, которое в силу своих культурных преимуществ всегда оказывает крупное влияние на народные говоры. Сюда относятся такие факты, как «сумлеваюсь», «антиресный», «дилехтор», «я человек увлекающий», «выдающие новости» и т. д. На первый взгляд, уж эти-то факты как будто должны определиться, как «искажения» литературной речи. Но и тут наука подходит к делу с объективной меркой и определяет их, как факт *смешения* языков и наречий (в данном случае местного с литературным), находя в каждом отдельном факте смешения свои закономерные черты («сумлеваюсь» — народная этимология, «дилехтор» — диссимиляция плавных и т. д.) и рассматривая само смешение, как один из наиболее общих и основных процессов языковой жизни. Когда при мне переврали раз название нашей науки, окрестив ее «языконоведением», я тотчас занес этот факт в свою записную книжку, как яркий и интересный пример так называемой контаминации, т.-е. слияния двух языковых образов (языковедение — законоведение) в один смешанный. Всевозможные индивидуальные дефекты речи, картавленье, шепелявленье и т. д. проливают иногда глубокий свет на нормальные фонетические процессы и привлекают к себе не меньший интерес лингвиста, чем эти последние. Совершенно случайные обмолвки открывают иной раз глубокие просветы в области физиологии и психологии речи. Даже чисто-искус-

ственные факты постановки человеком неверного ударения на слове, которое он узнает *только из книг* («ро̀ман», «по̀ртфель») дают интересный материал для суждения о языковых ассоциациях данного индивида. Когда меня спросили на юге, как надо говорить: «верноподда̀ннический» или «верноподданнѝческий» я отметил у себя оба факта для последующего размышления о них.

Такова объективная точка зрения на язык. Как видит читатель, она диаметрально противоположна обычной, житейско-школьной точке зрения, в силу которой мы над каждым языковым фактом творим или, по крайней мере, стремимся творить суд, суд «скорый» и зачастую «неправый» и «немилостивый». Мы или признаем за фактом «право гражданства» или присуждаем его сурово к вечному изгнанию из языковой сферы. Суд этот обычно бывает пристрастнейшим из всех судов на земле, так как судья руководится прежде всего собственными привычками и вкусами, а затем смутным воспоминанием о каких-то усвоенных на школьной скамье законах — «правилах». Но, во всяком случае, он убежден, что для *каждого* языкового случая такие правила существуют, что всё, чего он не доучил в школе, имеется в полных списках, хранящихся в недоступных для профана местах, у жрецов грамматической науки, и что последние только составлением этих списков «живота и смерти» и занимаются. Так как это убеждение в существовании объективной, обще-обязательной «*нормы*» для каждого языкового явления и необходимости этой нормы для самого существования языка составляет самую характерную черту этого обычного житейско-интеллигентского понимания языка, то мы и назовем эту точку зрения *нормативной*. И нашей ближайшей задачей будет исследовать происхождение этой точки зрения как вообще в гражданской жизни, так и в частности, и по преимуществу в школе.

Когда человеку, относившемуся к языку исключительно нормативно, случается столкнуться с подлинной наукой о языке и с ее объективной точкой зрения, когда он узнаёт, что объективных критериев для суждения о том, что «правильно» и что «неправильно» нет, что в языке «всё течет», так что то, что вчера было «правильным», сегодня может оказаться «неправильным» и наоборот; когда он вообще начинает постигать язык, как самодовлеющую, живущую *по своим законам*, величественную стихию, — тогда у него легко может зародиться отрицательное и даже ироническое отношение к своему прежнему «нормативизму» и к задачам нормирования языка. И чем наивнее была его прежняя вера в существование норм, тем бурнее может оказаться, как у всякого новообращенного, его новое отрицание их. От такого поверхностно-революционного отношения к нормативной точке зрения я решительнейшим образом должен предостеречь читателя. Ближайший анализ

покажет, что для *литературного наречия* наивный нормативизм интеллигента-обывателя, при всех его курьезах и крайностях, есть *единственно-жизненное* отношение, а что выведенный из объективной точки зрения квиетизм был бы смертным приговором литературному наречию.

Прежде всего, при ближайшем рассмотрении оказывается, что среди многих отличий литературного наречия от естественных, народных наречий и языков как раз самым существенным, прямо, можно сказать, конститутивным, является именно это стремление говорящего так или иначе *нормировать* свою речь, говорить не просто, а *как-то*. В естественном состоянии языка говорящий не может задуматься над тем, *как* он говорит, потому что самой мысли о возможности различного говорения у него нет. Не поймут его — он перескажет, и даже обычно другими словами, но всё это совершенно «биологически», без всякой задержки мысли на языковых фактах. Крестьянину, не бывшему в школе и избежавшему влияний школы, даже и в голову не может прийти, что речь его может быть «правильна» или «неправильна». Он говорит, как птица поет. Совсем другое дело человек, прикоснувшийся хоть на миг к изучению *литературного* наречия. Он моментально узнаёт, что есть речь «правильная» и «неправильная», «образцовая» и отступающая от «образца». И это связано с самым существованием и с самым зарождением у народа *литературного,* т.-е. *образцового* наречия. И зарождается-то оно, как «лучшее», как язык *преобладающего* в каком-либо отношении (не всегда литературном, а и политическом, религиозном, коммерческом и т. д.) племени и *преобладающих* в тех же отношениях классов, как язык, который *надо* для успеха на жизненном поприще усвоить, заменив им свой, доморощенный, житейский язык, т.-е. как некая *норма*. Существование языкового *идеала* у говорящих, — вот главная отличительная черта литературного наречия с самого первого момента его возникновения, черта, в значительной мере *создающая* самое это наречие и поддерживающая его во всё время его существования. С точки зрения естественного процесса речи, с точки зрения так сказать физиологии и биологии языка, эта черта совершенно неестественна. Если сравнить речь с другими привычными процессами нашего организма, например, с ходьбой или дыханием, то «говорение» интеллигента будет так же отличаться от говорения крестьянина, как ходьба по канату от естественной ходьбы или как дыхание факира от обычного дыхания. Но эта-то неестественность и оказывается как раз *условием существования* литературного наречия.

Присмотримся поближе к основным чертам этого литературно-языкового идеала. Первой и самой замечательной чертой является его поразительный *консерватизм*, равного которому мы не встречаем ни в какой другой области духа. Из всех

идеалов это единственный, который лежит целиком *позади.* «Правильной» всегда представляется речь старших поколений, предшествовавших литературных школ. Ссылка на традицию, на прецеденты, на «отцов» есть первый аргумент при попытке оправдать какую-либо шероховатость. Нормой признается то, что было и отчасти то, что есть, но отнюдь не то, что будет. Сама по себе нормативность не связана с *неподвижностью* норм. В области права мы имеем пример норм, еще более принудительных и в то же время как раз подвижных, произвольно и планомерно изменяемых. Не то в языке. Здесь норма есть идеал, раз навсегда уже *достигнутый,* как бы отлитый на веки вечные. Это сообщает литературным наречиям особый характер *постоянства* по сравнению с естественными наречиями, мешает им эволюционировать в сколько-нибудь заметных размерах. Современный образованный итальянец легко читает Данте, современный же итальянский крестьянин вряд ли бы разобрался в языке родной деревни XIII века. Если в языке «всё течет», то в литературном наречии это течение заграждено плотиной нормативного консерватизма до такой степени, что языковая река чуть ли не превращена в искусственное озеро. Не трудно видеть, что этот консерватизм не случаен, что он тесно связан опять-таки с самым существованием литературного наречия и *литературы.* Разговорный язык может меняться в каком угодно темпе, и беды не произойдет, потому что мы говорим с отцами нашими и дедами, но не далее. Читая Пушкина, мы уже говорим с прадедом, а для англичанина, читающего Шекспира, и для итальянца, читающего Данте, это «пра» удесятерится. Если бы литературное наречие изменялось быстро, то каждое поколение могло бы пользоваться лишь литературой своей да предшествовавшего поколения, много двух. Но при таких условиях не было бы и самой литературы, так как литература всякого поколения создается *всей* предшествующей литературой. Если бы Чехов уже не понимал Пушкина, то, вероятно, не было бы и Чехова. Слишком тонкий слой почвы давал бы слишком слабое питание литературным росткам. Консерватизм литературного наречия, объединяя века и поколения, создает возможность единой мощной многовековой национальной литературы.

Второй особенностью литературно-языкового идеала является то, что этот идеал всегда — *местный.* Мы все стараемся говорить не только, как говорили наши отцы, но и как говорят в *Москве,* в частности, на сцене Малого и Художественного театров. Взоры и слух всех французов обращены на небольшую площадку сцены Comédie Française. Эта особенность, опять-таки связанная с самой сущностью и происхождением литературного наречия (наречие возобладавшего *племени,* занимавшего определенную территорию), оказывается в культурно-историческом отношении не менее важной. Если языковой

консерватизм объединяет народ *во времени,* то равнение на языковой центр (Москва, Париж и т. д.) объединяет народ *территориально.* Основным свойством языковой эволюции признается в современном языкознании *дифференциация* языков, в силу которой всякий говор стремится обособиться от других говоров, распасться в свою очередь на говоры и сделаться наречием, всякое наречие стремится сделаться языком, всякий язык— целой языковой группой родственных языков и т. д. Словом, здесь эволюция совершенно аналогична эволюции животного и растительного мира и протекает целиком по дарвиновской схеме, по принципу «расхождения признаков»: разновидности делаются видами, виды родами и т. д. Так в естественном состоянии, но опять-таки не так при существовании литературного наречия. Литературное наречие не только объединяет различные части народа, говорящие на разных наречиях, как междурайонное, понятное всюду, оно и непосредственно воздействует на местные наречия и говоры, нивеллируя их своим влиянием и *задерживая процесс дифференциации.* А на такое непосредственное воздействие одна литературная, книжная традиция без *живого, звучащего* в национальном центре *образца* вряд ли оказалась бы способной. Говоря популярно, если бы рязанцы, туляки, калужане и т. д. не прислушивались бы к Москве, у них на месте нынешних наречий и говоров образовались бы в скорости свои рязанский, тульский, калужский и т. д. языки и национальности, и с русской национальностью было бы покончено.

Всё, о чем я говорил до сих пор, касается той стороны литературно-языкового идеала, которая определяется понятиями «правильного» и «неправильного». Но ведь кроме правильности мы требуем от речи и многого другого. Из этого другого я коснусь здесь только того, чего мы *все* требуем от себя и от других, всегда и везде, требуем так же неумолимо, как правильности, именно — *ясности* речи. Наш собеседник может говорить плоско, худосочно, неизобразительно, растянуто, неточно даже — мы со всем этим будем мириться. Но, если он будет говорить *непонятно,* мы просто прекратим разговор. Мне могут возразить, что понятность требуется и в естественной речи, что она есть необходимое условие всякой речи как процесса социального, и что в этом отношении известного рода «норма» рисуется в уме даже дикаря: говорящий непонятно представится ему именно ненормальным. Всё это так, и нормативность, в известном смысле, действительно входит в природу *всякого* говорения (см. ниже о социальной обусловленности речевого процесса). Но дело в том, что в естественном состоянии языка на нормативности этой никогда не приходится настаивать и даже не случается о ней подумать. В естественном состоянии все, кроме сумасшедших и сумасшедствующих (колдуны, шаманы, заклинатели), говорят нормально, т. е. понятно. Даже в нашей

8*

деревне говорят непонятно только придурковатые да те, которые хотят «свою образованность показать» (т.-е. задетые уже литературным наречием). В литературном наречии, напротив, все всегда и везде говорят в той или иной степени *непонятно*. Это может показаться парадоксом, но я прошу вспомнить любое собрание, любой доклад, любой спор. Разве не обращаются всегда к докладчику с просьбой *разъяснить* то или иное положение (при чем вопросы обличают зачастую *полное* непонимание вопрошателей), разве не занимаемся мы в наших спорах преимущественно выяснением того, что мы *„хотим сказать"* или *„хотели сказать"*, и разве не расходимся в результате всех этих выяснений часто глубоко непонятыми и непонимающими? Я прошу вспомнить, сколько времени тратится в наших спорах на действительное выяснение истины и сколько на устранение словесных недоразумений, на уговор о значении слов (это всё в лучшем случае, когда спорящие не просто твердят каждый свое, а стараются понять друг друга); прошу вспомнить, сколько времени тратится юристами на выяснение *смысла* того или иного свидетельского показания, того или иного закона; прошу вспомнить, сколько людей в науке, в поэзии, в философии, в религии заняты исключительно *толкованием* чужих мыслей, выраженных подчас самими творцами как будто бы классически ясно и просто, но тем не менее всегда создающих целый ряд толков, сект, течений, направлений и т. д.; прошу всё это вспомнить — и читатель согласится со мной, что *затрудненное понимание* есть необходимый спутник литературно-культурного говорения. Дикари просто «говорят», а мы всё время что-то «хотим» сказать. Мы, как слепцы, ищем с протянутыми руками друг друга в воздухе. Каждый *вполне* понимает только свою собственную речь. Это создает усиленный *спрос на ясность* в литературном наречии. Чем непонятнее культурные люди вынуждены говорить (почему — об этом ниже), тем понятнее они *хотят* говорить. После правильности ясность следует считать наиболее общепризнанной, наиболее интенсивно сознаваемой нами чертой нашего литературно-языкового идеала. Самая правильность даже оценивается нами так высоко, в сущности, как необходимое условие ясности.

Ряд предыдущих сопоставлений первобытных условий жизни языка с культурными, вероятно, привел уже читателя к догадке, что «непонятность» литературного наречия для самих говорящих на нем обусловливается общей *сложностью* культурной жизни. Но я все-таки проанализирую здесь, в чем состоит эта сложность с чисто лингвистической точки зрения, чтобы показать, что повышенные, по сравнению с естественным состоянием, заботы о ясности, наравне с заботами о правильности, являются необходимым условием самого существования литературного наречия.

Еще Пауль[1]) в свое время показал, что естественная речь (конечно, и *разговорно*-литературная, поскольку она одной стороной своей примыкает к естественной) по природе своей *эллиптична*, что мы всегда не *договариваем* своих мыслей, опуская из речи всё, что дано *обстановкой* или *предыдущим опытом* разговаривающих. Так за столом мы спрашиваем: «Вы кофе или чай?»; встретив знакомого, спрашиваем: «Ты куда?»; услышав надоевшую музыку, говорим: «Опять!»; предлагая воду, скажем: «Кипяченая, не беспокойтесь!»; видя, что перо у собеседника не пишет, скажем: «А вы карандашом!» и т. д. Такие случаи, когда подающий воду говорит: «Это кипяченая *вода*», или следящий за письмом, говорит: «А вы *пишите* карандашом» — принадлежат несомненно к более редким. Язык по природе *экономен* в средствах. Не трудно видеть, что эта экономия возможна только при двух, уже указанных выше, условиях: 1) общности обстановки (обеденный стол, вода, писанье) и 2) общности предыдущего опыта (музыка). Каждая из вышеприведенных фраз *сама по себе* совершенно непонятна и может иметь огромное количество значений в зависимости от этих двух факторов. Карандашом можно не только писать, им можно заткнуть отверстие, подрисовать брови, растолочь обратной стороной кристалл и т. д., и т. д. Фраза: «А вы карандашом!» может иметь соответственно этому множество значений. Точно так же вопрос: «Вы кофе или чай?» имеет в устах хозяйки одно значение, в устах встретившихся в магазине знакомых, делающих закупки, — другое, в устах лекторов по технологии, распределяющих между собой лекции о культурных растениях, — третье и т. д., и т. д. И всё это мгновенно и без малейшего усилия понимается благодаря общей обстановке и общему опыту. Даже и наиболее недоговоренное из предыдущих примеров восклицанье: «Опять!», могущее иметь уже поистине бесконечное количество значений, на практике всегда будет понято наиболее точным образом. Можно даже сказать, что точность и легкость понимания растут по мере уменьшения словесного состава фразы и увеличения ее бессловесной подпочвы. Чем меньше слов, тем меньше поводов для недоразумений. Это прямо приводит нас к причинам «непонятности» литературной речи. *Чем литературнее речь, тем меньшую роль играет в ней общая обстановка и общий предыдущий опыт говорящих.* Чтобы убедиться в этом, достаточно сопоставить два полюса этой стороны речи: разговор крестьянина с женой об их хозяйстве и речь оратора на столичном митинге. Первые говорят *только* о том, что или перед их глазами или переживается ими сообща в течение всей жизни ежедневно; второй говорит обо всем, *кроме* этого. Обстановка в его речи *совершенно* отсутствует, а предыдущий опыт распадается на инди-

---

[1]) Paul. Principien der Sprachgeschichte.

видуальные опыты тысячи съехавшихся со всего света лиц, объединенных только общностью человеческой природы. Во сколько же раз ему *труднее* быть понятым, и во сколько раз больше он поэтому должен *стараться* говорить понятно! Всякий, кому случалось составлять уличное или газетное объявление о продаже пианино, прекрасно помнит, как он именно *составлял* его, а не просто писал, как он обдумывал каждое слово, и как нередко он рвал черновики. Почему это? Потому, что *трудность языкового общения растет прямо пропорционально числу общающихся*, и там, где одна из общающихся сторон является неопределенным множеством, эта трудность достигает максимума. А во всякой *печатной* (т.-е. собственно литературной) речи это именно так и есть: книги печатаются для неопределенного множества лиц. Понятно, что в противовес этой неизбежной затрудненности общения в культурном обществе должен был чисто биологически возникнуть *культ слова, культ уменья говорить*, что для естественных условий звучит абсурдно. И если бы даже ни правописание наше, ни грамматика нашего литературного наречия сама по себе, ни словарь его не представляли никаких трудностей (предположение, конечно, фантастическое), мы всё равно учились бы и учили бы родному языку в школе, потому что каждый из нас, как только он выйдет из пределов домашнего обихода, как только он заговорит о том, чего нет и не было ранее перед глазами его собеседника, должен *уметь говорить*, чтобы быть понятым.

Основная и наибольшая часть этого уменья говорить дается в школе. Жизнь мало сравнительно прибавляет к приобретенному в школе. Отсюда понятна колоссальная государственно-культурная роль постановки родного языка в школе, именно, как предмета *нормативного*. Там, где дети усиленно *учатся говорить*, там взрослые не теряют бесконечного количества времени на отыскивание в словесном потоке собеседника основной мысли и не изливают сами таких потоков вокруг своих мыслей, там люди не оскорбляют друг друга на каждом шагу, потому что лучше понимают друг друга, там люди меньше судятся, потому что составляют более ясные контракты и т. д., и т. д. Уменье говорить, это то смазочное масло, которое необходимо для всякой культурно-государственной машины, и без которого она просто остановилась бы. Если для общения людей вообще необходим язык, то для культурного общения необходим как бы язык в квадрате, язык, культивируемый как особое искусство, язык *нормируемый*.

Такова роль нормативного изучения родного языка в школе. Может возникнуть вопрос: а как же наука с ее объективной точкой зрения? Ведь нормативная точка зрения не научна. Мирится ли всё это с насаждением языковой науки в школе, за которое мы все теперь так ратуем?

Не только мирится одно с другим, но и требует одно другого. Противоречие этих двух точек зрения, как это мы тотчас увидим, только мнимое.

Прежде всего, беря вопрос во внешкольном, широком масштабе, мы должны признать, что противоречие факта и идеала, сущего и должного, свойственно вообще нашей мысли во всех областях ее. И наука с жизнью давным давно уже поделили между собой эти вещи: наука взяла себе «сущее», а жизнь — «должное»; там же, где «должное» с очевидностью основывается на «сущем», создались специальные, промежуточные между жизнью и наукой сферы — *прикладные*, *нормативные* науки (нормативность метафизического свойства я здесь для простоты оставляю в стороне). Политическая экономия изучает законы хозяйственной жизни, как они даны самой жизнью, т.-е. объективно, а экономическая политика направляет эту жизнь по желанному руслу, т.-е. действует субъективно на основе объективных данных экономической науки. Наука о финансах изучает законы финансовой эволюции государства, а финансовая политика извлекает из этого изучения уроки для направления финансовой жизни государства по желательному пути и т. д., и т. д. И в других областях даже принято, чтобы практик был хоть немного и теоретиком, чтобы государственный деятель знал и историю, и политическую экономию, и финансовое право, и множество других вещей, которые ему не мешают, а, наоборот, помогают. В свою очередь, и теоретики постоянно вмешиваются в этих областях в сферу практики, дают советы, являются сторонниками определенных *государственных* мер, соответственно своим *научным* симпатиям и убеждениям и т. д. Словом, наука изучает, жизнь творит, а мост между наукой и жизнью вполне налажен. Конечно, всякий ученый экономист прекрасно знает, где он перестает быть политико-экономом и становится экономическим политиком, всякий финансовед знает, где он превращается в финансового деятеля, и всякий *обыватель* знает, где он из наблюдателя государственной, правовой, экономической и т. д. жизни (а наблюдает жизнь и изучает ее, конечно, *всякий*, и от научного изучения такое изучение отличается только несистематичностью и неметодичностью) превращается в активного участника ее. Раздвоение наблюдения и действия во всех других областях, кроме языковой, так элементарно, что не требует даже размышлений. Напротив, в языке все так привыкли к действию и так далеки от наблюдения и изучения, что, внезапно распознав язык как предмет наблюдения и изучения, готовы забыть, что они непрестанные *творцы* того же самого процесса, который наблюдают; и что эти две свои роли — роль наблюдателя и роль творца, — каждый сам в себе должен разделить и в первой быть объективным, а во второй субъективным (насколько вообще допускает это такая объективная сфера как язык). В начале статьи я все время

подчеркивал, что лингвист как таковой, не знает оценки языковых фактов, что для лингвиста в *процессе изучения* все факты хороши. Теперь я надеюсь мои подчеркивания ясны. Лингвист не как лингвист, а как участник языкового процесса, как член данной языковой общины, конечно, расценивает языковые факты наравне со всеми прочими образованными людьми, с той лишь разницей, что у него для этой расценки гораздо больше специальных знаний. И не только расценивает, но сплошь и рядом активной проповедью вмешивается в процесс языковой эволюции (хотя опять-таки подчеркиваю, что стихийность языковых явлений плохо мирится с индивидуальным вмешательством и придает ему всегда вид донкихотства). Точно так же и обыватель, поскольку он наблюдает язык и интересуется им (случай не частый, конечно) является частично лингвистом, а поскольку морщится от каких-нибудь «местов» или «делов» — языковым политиком, человеком, участвующим в нормировании речи.

Есть одна область общественных отношений, где это совмещение наблюдения и действия сказывается особенно ярко. Это — рынок. На рынке, как известно, каждый приноровляется к так называемой рыночной цене, стараясь купить не дороже, а продать не дешевле этой цены. Цену эту он воспринимает как нечто, объективно данное: «сегодня пуд картофеля *стоит* столько-то». Но в то же время известно, что это «стоит» слагается из соотношения спроса и предложения, в которых участвует каждый посетитель рынка. Приноравливаясь к объективной «стоимости», он в то же время всяким актом купли-продажи и даже простым подходом к этому акту субъективно *создает* (пропорционально своей доле участия в общем обороте рынка) эту самую «стоимость». Совершенно то же и в языке. Все мы, чтобы нас понимали, *должны* равняться в нашей языковой деятельности по окружающим, должны говорить, как *все*. Непосредственное воздействие говорящей среды на каждого индивидуума ведет к тому же: каждый невольно подражает *всем*, окружающим его. Но, с другой стороны, как создается это «*как все*»? Если каждый подражает каждому, то почему же в конце концов получается не нечто абсолютно-однообразное, а, напротив, такое разнообразие, при котором нет 2-х людей, абсолютно одинаково говорящих? Всё дело в том, что это «как все» создается сложением миллионов индивидуальных языков, в том числе и *моим*. Всякий говорящий одновременно и *подражает* и *вызывает подражание*, и говорит «как все» и создает это «как все». Как нет на рынке ни одного покупателя (даже из прицениваюшихся или осведомляющихся только) и ни одного продавца, которые бы не участвовали в создании рыночной цены, так нет в языке ни одного говорящего, который бы не участвовал в создании самого языка. Разница между обывателем и литератором здесь только

количественная, как между крупными покупателями-продавцами и мелкими, но не качественная. И стремление всякого говорящего повлиять на язык, по сути дела, было бы настолько же естественно и законно, как стремление купить на рынке дешевле, а продать дороже.

В *школе* эти две стороны должны войти в теснейшее соприкосновение уже по одним методическим причинам. Изучение одних сухих «норм» высшей «литературности» без объяснения, откуда они взялись, насколько совпадают с разговорной действительностью и насколько отличаются от нее, было бы нестерпимо скучным. Это равнялось бы зубрению языкового «свода законов» без всякого юридического освещения, что, как известно, ни в одной юридической школе не практикуется. С другой стороны, *одно* наблюдение над языком без всякого практического применения этого наблюдения было бы, по крайней мере для школьника первой ступени, безусловно не по плечу. Теоретический интерес должен поддерживаться практическим, практический — теоретическим. Ребенок должен отчетливо понимать, что он *учится хорошо говорить*, но что для того, чтобы этому научиться, надо прислушаться к тому и подумать над тем, *как люди говорят*. Уже и в детском уме объективная и нормативная точки зрения должны прийти в должное равновесие и взаимодействие. Но для этого прежде всего надо, чтобы последнее твердо и стройно установилось в уме учителя, чему я и хотел посодействовать настоящей статьей.

Понятие отдельного слова.

Слово — одно из труднейших общих понятий языковедения, к сожалению еще мало разработанное. Несмотря на то, что сам человеческий язык определяется обычно как «язык слов», в отличие от языка нерасчлененных представлений у животных, языка жестов у глухонемых, языка различных сигналов и т. д., несмотря на то, что *почти все остальные* общие понятия языковедения определяются посредством «слова», («форма *слова*», «значение *слова*», «*слово*сочетание», «предложение» как один из видов «*слово*сочетания» и т. д.), что самое деление языковедения на отделы обычно связывается с тем же понятием, — несмотря на всё это само «слово» представляет из себя для лингвистов до сих пор в значительной мере загадку. Причину такого, на первый взгляд, изумительного явления надо искать, вероятно, всё в той же «тирании букв» (выражение de-Saussure'a), которая во многих случаях всё еще продолжает тяготеть над лингвистикой, несмотря на основную тенденцию нашего времени от нее избавиться. В самом деле, современное европейское, расчлененное на слова, письмо уже проделало бессознательно ту колоссальную работу, которую без этого *сознательно* пришлось бы проделывать лингвисту; и так как результаты этой работы *в общем и целом* не расходятся и не могут расходиться с результатами работы лингвиста (ибо и та и другая одинаково основываются на языковом самонаблюдении, а те факторы, которые в области самого начертания слов так далеко отвели друг от друга звук и букву, здесь почти отсутствуют), то вполне естественно, что исследователи, пренебрегши немногочисленными в этой области случаями расхождения письма с современным языковым сознанием (а в отдельных случаях исправляя подобные ошибки), воспользовались этим готовым строительным материалом для возведения научного здания. Когда мы исходим из «слов», мы исходим, в сущности, из тех отрезков, которые человечество путем письма единогласно, хотя и молчаливо, признало основными единицами своей речи (подобно тому как другие единицы, более крупные, оно наметило знаками препинания), и никаких существенных погрешностей в дальнейшем построении науки от этого по вышеуказанным причи-

нам, произойти не может. Однако, самая *природа* отдельного слова, приведшая человечество к этому обнаружению его на письме, и самые *принципы* членения речи на слова остаются при этом попрежнему в области бессознательного. Равным образом и планомерное, систематическое исправление традиционного письменного членения становится при неопределенности принципов невозможным.

Впрочем, в значительной мере неразработанность вопроса о слове объясняется и теми чуть ли не непреодолимыми трудностями, на которые наталкивается этого рода исследование.

Укажем здесь на следующие основные трудности:

1) Отличение «слова» от значащей *части слова* (корень, префикс, суффикс, инфикс, флексия). В словах: «переноска», «переносить», «перенесение», «перевозка», «переходить» и т. д., звуковое сочетание «пере» имеет определенное совершенно одинаковое значение смены отправного и конечного пункта движения, в словах: «стола», «окна», «седла», «коня» и т. д. звук «а» имеет совершенно определенное одинаковое значение (признак род. пад. ед. числа), в словах: «окно», «окна́», «окну», «о́кна» и т. д., часть «окн» (или «акн») имеет также свое определенное отдельное значение. Почему это части слов, а не слова? Вопрос этот представится на первый взгляд не умудренному в лингвистике читателю, смотрящему на дело сквозь призму застарелой житейской привычки, совершенно абсурдным. Чтобы показать, что дело не так просто, как это кажется, я проанализирую здесь все возможные принципы различения «слова» от части слова, как приходящие в голову прежде всего профану, так и выставляемые наукой после зрелого обсуждения, и читатель убедится, что ни один из этих принципов, сам по себе, не достаточен для различения:

а) Слова употребляются и отдельно, а части слов отдельно употребляться не могут. Но далеко не все те звуковые сочетания, которые принято называть «словами», употребляются отдельно. Прежде всего, все так называемые *частичные* «слова» (предлоги, союзы и некоторые другие) отдельно не употребляются (такой разговор, как: «Вы с сахаром или без?» — «*Без*». «Вы за или против?» — «*За*» в естественном, не искаженном графическими представлениями, языке невозможен, а выделение таких слов, как «с», «в», «и», в отдельный ответ даже и в архиинтеллигентском языке, кажется, невозможно). Далее во многих языках и так называемые *полные* слова не всегда употребимы отдельно. Французское «parl (e, es, ent)» («говорю», «говоришь», «говорит» и «говорят») может быть произнесено отдельно *только с интонацией побуждения* (parle! «говори») и в этом случае оно, конечно, есть особое слово по сравнению с повествовательным «parle». С интонацией же повествования оно отдельно звучать не может (нельзя спросить: qu'est ce qu'il fait? что он делает?» и ответить: «parle» «говорит», а можно

ответить только: «il parle», т.-е. «*он* говорит»). Слово suis («существую») уже и с повелительной интонацией невозможно, и таким образом это слово, несмотря на *полный* иногда смысл и даже на полную грамматическую определенность (это уже не 3 лица и не 2 числа, как в «parle», а только 1-е л. ед. ч.) *никогда* не может быть употреблено отдельно. Винительные падежи me, te, le, que (соответствующие русским «меня», «тебя», «его», «кого») никогда не могут употребляться отдельно, так что по-французски на вопрос: «кого ты любишь? нельзя ответить «его», а можно только ответить: «это есть *он*, кого я люблю» (дословный перевод). Точно так же и слово «ce» (это) отдельно не употребляется. Таким образом важнейший член предложения, *сказуемое*, по-французски сравнительно редко (только при приказании) может звучать отдельно, подлежащее и дополнение, когда они местоименные, тоже не могут звучать отдельно и т. д.

б) Слова имеют собственное ударение, а части слова его не имеют. Но почти все те виды слов, которые не могут употребляться отдельно, не имеют и ударения (см. выше все примеры, кроме глаголов, сравн. также французские глаголы в вопросительных и отрицательных оборотах: parlez-*vous*? je ne parle *pas* и все ведийские глаголы).

в) В конце слова можно сделать паузу, а в середине слова нельзя. Но после тех слов, которые не имеют ударения, и паузы сделать нельзя (особенно это ясно на таких словах, как «в», «с» или французские «l'», «qu'», «c'» и т. д.). Кроме того, иногда и после ударяемого слова паузы сделать нельзя (например, во французском: *pas* encore, *donne* moi).

г) Слова *сочетаются* только со словами же, а части слов только с частями слов. Нельзя сказать «светлое окн», т.-е. соединить слово с корнем другого слова, нельзя сказать «ходить ывал» в смысле «хаживал». Точно так же и *отделяются* слова друг от друга только словами же, а части слов — частями слов. Нельзя сказать: «бород этот человек атый», а только: «этот человек бородатый», нельзя сказать: «он пере глупый», а только: «он слишком глупый» и т. д. Но такое рассуждение предполагает все слова и части слов уже *найденными*, т.-е. оно опять-таки опирается на установленное письмом членение. Когда я говорю, что «светлое окн» (или «светлое акн») не употребляется, я заранее уже рассек «акно» на «акн» и «о» и решил, что вместе они составляют слово, а порознь являются лишь частями слова. На самом же деле сочетание «светлое акн» в языке *употребляется*, если рассечь звуковой поток так: «светлое акн/о». Точно так же и следующие, действительно невозможные в языке, сочетания, я придумал уже, *зная заранее* (т.-е. согласившись с письмом), что «бород» и «атый» не «слова» (хотя «бород» как раз может быть и «словом»), а «этот» и «человек» — «слова». Ясно, что здесь то, что *ищется*, неза-

метно подползает, как известное. Если же мы отрешимся от письма и взглянем на дело «как в первый миг творения», то, сможем констатировать только одно: что звуковые отрезки, называемые «словами», и звуковые отрезки, называемые «частями слов», одинаково *не связаны* неразрывной связью друг с другом в одних случаях и одинаково *связаны* в других. Так, между «дев» и «а» можно вставить «к», «иц», «ушк», «очк», «ченочк», «уленьк» («девка», «девица», «девушка», «девочка», «девченочка» «девуленька») точно так же, как между «он» и «говорит» можно вставить «часто», «об этом» и т. д. С другой стороны, между «нес» и «у» (несу) ничего нельзя вставить, точно так же, как между «за» и «кого» («за кого подавали голоса?»), «под» и «которую» («лошадь, под которую он попал»), даже «дом» и «которого» (человек, «дом которого продается»). Что касается «невозможных» в языке сочетаний, то ведь и не все «слова» и не все части слов между собой сочетаемы. Кроме того, есть случаи, где, даже принявши на веру существующее членение, придется признать, что «части слов» соединяются со «словами» и отделяются друг от друга «словами». Так, в отрезке «купаюсь» мы имеем слово «купаю» и часть «сь». Правда, можно было бы возразить, что «купаю» здесь *основа*, а не целое слово. Однако, под понятие основы оно не очень-то подходит, так как одна и та же основа обычно встречается с другими формальными частями, и в этом ее сущность («вода», «воды», «воде» и т. д.), это же «купаю» встречается *только с этим* «сь» и больше ни с чем. Точно так же в «пойдемте!» мы имеем соединение отдельного слова «пойдем!» с частью «те», при чем значения их от соединения нисколько не изменились. С другой стороны, есть сложные «слова», распадающиеся на части и вмещающие между своими частями какие угодно слова и комбинации слов. И это как раз «слова», признанные за таковые не письмом, а научным анализом. Так, Фортунатов, по соображениям, на которых мы не можем здесь останавливаться, но которые представляются действительно неопровержимыми, признает сочетание «гулял бы» за цельное слово *с передвижным аффиксом «бы»*, немецкое gehe úm, gebe zù и т. д. признаются многими за цельные слова того же типа, так что в сочетаниях: «я бы с вами сегодня охотно гулял», «ich gebe das Ihnen gerne zù» и т. д. между частями «слов» оказываются целые ряды отдельных слов. Впрочем, следует признать, что обе последние категории сочетаний всё-таки сравнительно редки и могли бы быть отнесены в рубрику *переходных* случаев (а наличность всевозможных переходов надо заранее ожидать во всём, что касается живой природы, и она, как и в естествознании, нисколько не подрывает классификации). Такие отрезки, как «купаю» (из слова «купаюсь») или «пойдём» (из слова «пойдемте») могли бы быть признаны чем-то, стоящим на *границе* между основой и целым словом (для первого из них особенно

много мотивов в пользу такой квалификации), такой отрезок, как «те» чем-то стоящим на границе между аффиксом и частичным словом (сравн. еще: «иди!» и «идите!», где «иди» *почти* не основа, а следовательно — «те» почти не аффикс), наконец такие сочетания, как «гулял бы», «gebe zu» могли бы быть признаны за *нечто среднее* между «словом» и «словосочетанием». Таким образом, игнорируя эти переходные случаи и становясь на точку зрения уже данной письмом классификации, приходится признать, что те отрезки, которые называются «словами», и те, которые называются «частями» слов, действительно группируются в определенную *двухстепенную систему*, т.-е. что «слова» так же *составляются из «частей» слов, как «словосочетания» из целых «слов»*. Отсюда и соотносительность всех «слов» и всех «частей» слов между собой: если «те» в слове «пойдемте» не слово, а аффикс, то «пойдем» тем самым неизбежно делается основой, если «на» в сочетании «на столе» — слово (тоже очень трудный случай, так как «столе» без предлога невозможно), то и «столе» — слово, если же «на» часть сложного слова, то и «столе» — вторая часть такого слова. Это соотношение мы теперь же должны заметить для наших будущих выводов. Но тут же должны констатировать, что *существенной* разницы между «словами» и «частями» слов мы и при такой колоссальной уступке не получаем, а получаем только разницу в *степени сложения*.

д) Можно было бы еще указать на то, что *отношения* между словами в предложении складываются не так, как между частями слова внутри его. В предложении они очень разнообразны. Так, в предложении одно слово очень часто зависит от другого, другое от третьего и т. д. (или можно сказать: одно «определяется» другим, другое третьим и т. д.; сущность связи мы оставляем в стороне, а имеем в виду только *направление* ее от слова к слову); в слове же как будто бы *все* части обычно «зависят» от корня (или «определяют» корень). Но и это не так. Возьмем слово «чита/тель/ский». Часть «тель» превращает здесь действие чтения в *предмет* (читающее лицо), а часть «ский» показывает принадлежность *этому предмету* («читатель» = кто читает, а «читательский» = принадлежащий тому, кто читает). Без этого, «тель» часть «ский» не могла бы не только по звукам, но и по смыслу примкнуть к основе «чита-» (глагольных основ в соединении с суффиксом «ский» нет), и, следовательно, зависимость здесь идет так:

$$\text{чита} \xrightarrow{\quad} \text{тель} \xrightarrow{\quad} \text{ский},$$

т.-е. точно так же, как в группе:

$$\text{я} \xrightarrow{\quad} \text{люблю} \xrightarrow{\quad} \text{его}.$$

Или возьмем слово «пе/ва/л». Так как «певаю» и «буду певать» не существует, то это не многократный вид, как принимается обычно, а *давно* прошедшее время (про близкое прошлое нельзя сказать «певал»). Не трудно видеть, что этот оттенок создается отрезком - ва - («пел» — «певал»), тогда как отрезок «л» обозначает простое прошедшее. Таким образом, здесь значение корня определяется ближайшим образом частью «л», а уже эта часть определяется детальнее частью «ва», так что получается следующая схема:

пе — ва — л

т.-е. совершенно то же, что в группе:

дом моего отца

Наконец, обычное соотношение, когда все формальные части относятся к корню, например:

пере — нос — к — а

соответствует сочетанию

старый дом отца красив.

Возможно, конечно, что между словами в силу бо́льшего разнообразия типов слов и отношений между ними найдутся такие типы связей, которые внутри слов не встречаются. Но ясно, что и тут дело лишь в большей сложности и что *принципиального* различения на этом построить нельзя.

е) Но ведь в слове обычно *одна* только часть имеет так называемое материальное, вещественное значение (корень), остальные же всегда более или менее *формальны* (отсюда и само название «форма» и «формальные элементы»), тогда как в предложении многие части имеют реальное значение (все полные слова). Не в этом ли сущность разницы? Но прежде всего все *частичные* слова оказались бы по этому признаку опять-таки не «словами», так как вещественного значения они не имеют (сравн. такие слова, как «и», «а», «даже», «если» и т. д.). А кроме того (и это главное) понятия «материального» и «формального» в науке еще не установлены. Marty например, в результате тщательного философского анализа понятия «формы» и «материи» во всех областях знания («Untersuchungen zur Grundlegung der allgemeinen Grammatik und Spachphi-

losophie», Halle, 1908) приходит к выводу, что в языке в области значений «материальное» и «формальное» могут обозначать только «самозначащее» и «созначащее» (selbstbedeutend и mitbedeutend) и ничего больше. Правда, в конкретном его рассечении языка на такие «самозначащие» и «созначащие» отрезки с ним трудно согласиться. Но нам важно здесь то, что разница между материальным и формальным у него получается только синтаксическая, т.-е. опять-таки между отношениями аффиксов к корню и зависящих слов к независимому (подлежащему или сказуемому) существенной разницы не оказывается. И этот взгляд имеет очень многое за себя. В самом деле, многие «полные» слова на поверку оказываются тождественными по своему вещественному значению с формальными частями. Чем, например, «много», «несколько» отличаются от суффиксов множественного числа, «два» от суффиксов двойственного числа, «предмет», «вещь» от суффиксов существительного, «делать» от глагольных суффиксов, и т. п. (сравн. употребление подобных корней с грамматическими целями в китайских словосочетаниях)? Мы уже и не говорим об отрезках с местоименными значениями, которые в индо-европейских языках почти все оказываются корнями, а в семитских все — суффиксами.

ж) Это же различение могло бы принять и такой вид: «слова» соответствуют отдельным «представлениям», как частям мысли, а корни и аффиксы таким отдельным представлениям не соответствуют. Но чему же они соответствуют? Ведь если мы говорим, что в слове «дев/иц/а» три «*значения*», или три «*части* значения» (выражение безразлично), то это не может обозначать ничего другого как то, что в представлении, соответствующем этому звуковому отрезку, есть тоже три части. Но что такое «часть» представления? Это, очевидно, тоже представление, только меньшей степени сложности (как представление об отдельной ноте, как части аккорда, по отношению к представлению обо всем аккорде). Следовательно, и тут мы находим лишь разницу в степени сложности, и тут получается, что «слово» со своими частями это «маленькое предложение», а предложение — «большое слово».

2) Не менее труда представляет *отличение «слова» от целого «словосочетания»*. Здесь особенно интересны такие слова как «неправда», «открыть», «подговаривать», «совершеннолетний» и т. д., т.-е. состоящие из отрезков, считающихся в других случаях отдельными словами. Фортунатов отделяет такое слово от словосочетания, определяя его, как «комплекс звуков... который... не разлагается на два или несколько отдельных слов без изменения или без утраты значения хотя бы той или другой части этого звукового комплекса». Действительно, мы видим, что «неправда» не равняется простой сумме «не» + «правда» (оно приближается по значению к слову «ложь», тогда как «не + правда» совершенно тождественно по внутрен-

ней связи с «не + стакан», «не + чашка» и т. д.), «открыть» не равняется «от + крыть» (прибавляется значение совершенного вида), «подговаривал» не равняется «под + говаривал» (в «говаривал» теряется значение давности), «совершеннолетний», конечно, не равняется «совершенно + летний» и т. д. Но в некоторых случаях критерий Фортунатова оказывается по отношению к письменной традиции недостаточным. Так, если «безумный», действительно, не равняется «без + умный», «бездушный» не равняется «без + душный» и т. д., то «безвредный» уже целиком равняется «без + вредный», «бесполезный» = «без + полезный» и т. д. Можно было бы, конечно, возразить, что значение слова «без» изменилось, что «безвредный» не = «без вреда». Но это значило бы вступить в порочный круг, так как представка «без» отличается от предлога «без» *только постольку*, поскольку мы «безвредный» сознаем (или считаем, что сознаем) одним «словом», а «без вреда» двумя «словами». А наша задача — как раз именно доказать (или опровергнуть) эту разницу. Далее, большую трудность причиняют также такие сочетания, как «железная дорога», «великий пост» (в смысле церковного установления, а не в смысле просто большого поста), тоже не разлагающиеся на части без изменения значения той или иной части. Фортунатов определенно указал, что по *значению* эти сочетания совершенно *однородны* со слитными словами (т.-е., например, с таким словом, как «неправда»), но в то же время определил их не как «*слова*», а как «*словосочетания*» на том основании, что первая часть («железная», «великий») имеет здесь *форму отдельного слова*. Здесь опять бросается в глаза принцип относительности: «железная дорога» потому не «слово», что «железная» — «слово», а «железная» потому «слово», что состоит из «частей» слова. Сущность разницы между «словом» и «частью» слова остается попрежнему не открытой. К этому можно еще добавить, что такие сочетания, как «железная дорога» есть только *наибольшая степень* семасиологического сцепления слов, происходящего в той или иной степени при *каждом* соединении слов в речи. Ведь и «великий инквизитор» Достоевского не равняется просто «великий + инквизитор» (ни в смысле «большой инквизитор», ни в смысле «известный инквизитор») и «летняя погода» не = = «летняя + погода» (она может быть и не летом) и «старый пьяница» не = «старый + пьяница» (ругая, например, человека «старым пьяницей» мы хотим сказать собственно не то, что он стар и что он пьет, а что он *только* «старый пьяница»). Основное же неудобство критерия Фортунатова заключается в том, что *всякое* синтаксическое целое не выносит разрыва. «Завтра утром» не равняется «завтра + утром», потому что здесь один член непременно определяется другим (= либо «на завтрашнее утро», либо «на утреннюю часть завтра»), и это выражается и определенными внешними признаками, именно *неравенством уда-*

рений и тона того и другого слова (сравн. то же в тоне перечисления с одинаковыми ударениями, как обозначение 2-х отдельных моментов: «завтра, утром . . .», хотя и тут получается особого рода единство, фигура *параллелизма*, ибо в языке вообще нет абсолютно-отдельных элементов). Точно так же «дом отца» не = = «дом + отца», так как 1-й элемент, отдельное слово «дом» (именительный падеж сам по себе как раз обозначает *отдельность*) сознается здесь уже как часть, *управляющая* частью «отца», «читал книгу» не = «читал + книгу» (сравн. то же «читал», как непереходный глагол: «в деревне я много читал, купался, собирал грибы . . .») и т. д. Словом, ни одно *синтаксическое единство* (а, пожалуй, даже и вообще ни одна цельная речевая масса, например, даже ни одно литературное произведение) «не распадается на части без утраты или изменения значения той или иной части». И «слово» по своей максимальной цельности, как раз именно не противополагается синтаксическому единству, а, наоборот, является наиболее ярким его выражением, оно есть синтаксическое единство *по преимуществу*.

3) Совершенно другого рода трудность представляет отделение *сходных* слов друг от друга. Возьмем случай наибольшего сходства: тождество звуков и *легкая* разница в значении, как, положим, в отрезке «стол» в сочетаниях «письменный стол» и «у них всегда обильный стол». Что это, два «слова или одно? Фортунатов видит в таких случаях одно слово с *частичным видоизменением значения*, поскольку эти различные значения «*связываются между собою в сознании* говорящих» (курсив наш). Но где же *объективный* критерий для решения вопроса, связываются в каждом отдельном случае сходные значения или не связываются? Если в одних случаях связь кажется несомненной (например, в только что приведенном примере), а в других, наоборот, совершенно невероятной (например, в «коньки» = лошадки и «коньки» для катанья по льду или в «бабка» = бабушка и «бабка» = кость лошади), то во многих случаях (если не в большинстве) мы увидим нечто *среднее*: связь есть, но настолько слабая, что у одних может присутствовать в мысли, а у других нет, сегодня может, а завтра нет и т. д. Таковы, например, соотношения слов «месяц» = луна и «месяц» = $^1/_{12}$ года, «трубка» курительная и «трубка» водопроводная, «конек» = лошадка и «конек» = любимый предмет разговора, «язык» = мускулистый орган во рту и «язык» = = система знаков мысли, «корень» дерева, «корень» слова, «корень» квадратный и т. д. Если и можно наблюсти это *на себе* в определенный момент речи (хотя и это чрезвычайно трудно), то решить этот вопрос для *всего* языка, т. е. для всех говорящих или для гипотетического *среднего* говорящего субъекта представляется совершенно невозможным. Аналогичные затруднения представляются при отделении друг от друга слов,

сходных по корню или основе и не сходных по формальным частям. «Стол», «стола», «столу» и т. д., «иду», «идешь», «идет» и т. д., «светло» — «светлее», «труба» — «трубка» — «трубочка», что это, «слова» или *группы слов*, очень похожих друг на друга? При определении слова ученые обыкновенно не устанавливают *тождества* этих отрезков, а в то же время в морфологии единодушно поступают так: *формы склонения и спряжения* и *формы изменения в роде прилагательных* относят к *словоизменению* (Wortflexion или Wortbiegung), а все остальные формы к *словообразованию* (Wortbildung). Следовательно, «лиса», «лисы», «лисе» и т. д. признаются *изменениями одного и того же слова*, а «лиса» — «лисица» *двумя разными словами*, только *образованными* одно от другого. Условность такой терминологии, объясняющейся, по нашему мнению, главным образом, античной традицией, будет показана в дальнейшем, а пока заметим только, что, даже приняв это разделение, мы наталкиваемся на невероятные трудности. Дело в том, что сами понятия «склонения» и «спряжения» никогда не были точно определены, а взяты прямо из традиции. Есть ли например «спряжение» только изменение по *лицам и числам, или и по временам, наклонениям, залогам?* Так как в древних языках все эти формы образовывались между прочим флексиями, то они образовывали там одну сложную систему, которая и была воспринята как система «словоизменения», при чем тут же прихвачены были и элементы по значению явно инородные (например инфинитив) *только потому, что образовывались флексиями.* Но в новых языках те же формы часто образуются только суффиксами (например, русское прошедшее время: любила, любило, любили) или вообще явно не входят в систему спряжения (например, наш возвратный залог). Если понимать «словоизменение» и «словообразование» *традиционно*, то получается такой, например, абсурд, что французские parle и parlais — одно «слово» в разных изменениях, а русские «говорю» — «говорил» — разные слова. Если же понимать формы «словообразования» и «словоизменения» с их *внутренней* стороны, т.-е. как формы *синтаксические* и *несинтаксические*, то затруднение получается еще бо́льшее, так как провести границу между теми и другими не так-то легко, и ученые до сих пор о многих формах спорят, синтаксические они или несинтаксические (например, время и наклонение глаголов).

После всего сказанного читатель не удивится, что такие корифеи русской (и не одной русской) лингвистической мысли, как Бодуэн де Куртене и Фортунатов определяют слово явно неудовлетворительно.

Анализируя сочетание: «что написано пером, того не вырубишь топором», и разделив его прежде всего на 2 предложения, Бодуэн де Куртене говорит: «Затем, в обоих этих предложениях имеются части по своему смыслу и по *морфологической*

законченности, по своей *самостоятельности*, переносимые с тем же приблизительно значением в другие подобные сочетания, т.-е. в другие предложения» («Введение в языковедение, литогр. курс под редакцией профессора, читанный в 1910—11 г., курсив наш). Тут непонятно прежде всего, представляются ли «морфологическая законченность» и «самостоятельность» понятиями тождественными, так что одно слово только поясняет другое, или это два *разных признака* слова, а если два разных, то обязательны ли оба или только один из них. Далее, бросается в глаза неприложимость данного определения к частичным словам. Если такие слова, как «вчера», «здесь», «жаль» и будут для автора «словами» (ибо он приписывает им, как видно из дальнейшего, «морфологическую законченность», что само по себе тоже довольно странно и спорно), то такие, как «не», «при», «у» и т. д. уже ни в каком случае не будут. И действительно, расчленяя дальше на слова, он пишет: «невырубишь», но тут же в скобках прибавляет: «или «не вырубишь». Это «или» всё путает, так как в нем автор явно выходит из рамок только что данного определения. Далее, переходя к разложению слов на части, автор говорит: «Это разложение достигается прежде всего путем сопоставления слов с другими словами, в которых те же части повторяются приблизительно с тем же значением». Не трудно видеть, что определения автора можно было бы и переставить: про разделение на слова сказать, что «оно достигается путем сопоставления предложений с другими предложениями, в которых те же части повторяются приблизительно с тем же значением», а про разделение слов на части,— что во многих словах «имеются части, по своему смыслу и по морфологической законченности, по своей самостоятельности, переносимые с тем же приблизительно значением в другие слова». Всё дело в том, что «перенесение» элементов речи из одних сочетаний в другие и «сопоставление» сочетаний между собой по их элементам не два разных процесса, а совершенно один и тот же. «Перенесение» избрано автором для слов, а «сопоставление» для частей слов только потому, что «слова» опять-таки уже *заранее* представлялись автору (быть может, в применении к психологии слушателей) более несомненными, более легко различимыми единицами, чем части слов. Первые можно просто «переносить», а для различения вторых надо слова «сопоставлять» (более трудный процесс). Но если это и так, то причина-то этой большей трудности (а в ней, очевидно, и должна таиться разница между словами и частями слов) остается невыясненной. Правда, автор говорит еще в другом месте о словах, как о «неделимых синтаксических единицах (*синтагмах*)» (курсив автора), а о частях слов, как о «морфологических частях». Но самых понятий «синтаксической единицы» и «морфологической» он не определяет. А судя по тому, что он тут же называет синтаксис «морфологией высшего

порядка», существенной разницы между теми и другими для него нет.

Фортунатов определяет слово так: «Всякий звук речи, имеющий в языке значение отдельно от других звуков, являющихся словами, есть слово;... обыкновенно... слово состоит из нескольких звуков речи, т.-е. представляет известный комплекс звуков речи, который имеет в языке значение отдельно от других звуков и звуковых комплексов, являющихся словами» (Литогр. курс 1902 г., повторено с ничтожными изменениями, слегка искажающими смысл, во «Введении в языковедение» В. К. Поржезинского). Здесь, прежде всего, логически «кричит» внесение определяемого понятия в само определение (являющихся «словами»). Этот грубый промах со стороны великого ученого характеризует одновременно 3 вещи: 1) трудность вопроса, 2) неверность метода, избранного им в данном случае и приведшего к промаху и 3) гениальность интуиции, позволившую ему все-таки схватиться за самую суть явления. Странно сказать, но этот логический промах и есть как раз самая оригинальная и глубокая сторона фортунатовского определения. Действительно, мы уже видели, что слова соотносительны, что каждое «слово» только потому «слово», что другие соотносительные с ним элементы — «сло́ва», т.-е. только на фоне всех других комплексов, «являющихся словами».

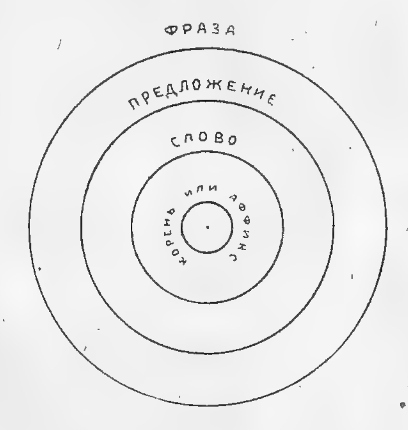
Но как же однако выпутаться из этого заколдованного круга? В нижеследующем мы позволим себе высказать ряд собственных соображений, сжав их, по условиям места, в довольно конспективное изложение.

Прежде всего необходимо покончить с традиционным употреблением термина «слово», в двух *совершенно различных смыслах:* в смысле отдельного психо-физиологического *акта* членения речи и в смысле ассоциативной группы представлений, *обособившихся* в уме говорящего в результате этого членения. Возьмем простейший житейский случай: через комнату прошло 3 человека, и через некоторое время еще 3. Сколько человек всего прошло через комнату? — 6. Теперь, представим себе, что во второй тройке был человек, уже проходивший перед этим в первой тройке. Сколько человек прошло при этом через комнату? Ответ *невозможен*, пока мы не определим, что мы разумеем в нашем вопросе под словом «человек». С точки зрения полотера прошло 6 человек (следы 12 ног), с точки зрения человека, следящего за голосованием (если это было голосование) прошло 5 человек (5 «голосов»), с точки зрения костюмера (если это был костюмированный вечер, и этот человек успел переодеться) прошло 6 человек, с точки зрения гераклитовской философии, прошло 6 человек (он сказал бы, что «один и тот же человек не может дважды пройти через одну и ту же комнату»), с точки зрения Платоновской — 5 (5 «идей» или «сущностей») и т. д. Даже и биолог не может дать безоговорочного ответа

на этот вопрос, потому что в *количественном* смысле несомненно прошло 6 отдельных человеческих особей, а в качественном — только 5. Совершенно то же и со словами. В каждом из сочетаний: «я пришел домой» и «мы поехали домой» по 3 слова, а в сумме выходит то 5, то 6, смотря по тому, что понимать под словом «слово». Любопытно, что в фонетике эта путаница уже давно устранена введением принятого теперь почти всеми термина «фонема». В слове «колокол», например (произн. «колэкэл») имеется 7 отдельных звуков, но всего *4 фонемы* (к, о, л, э). В настоящих строках мы решительно вводим то же различение и в лексикологию, обозначая эти два понятия, как *слово-член* и *слово-тип*. Само собой разумеется, что единого определения для этих двух *совершенно разнородных* понятий быть не может, и задача определения «слова» таким образом раздваивается. С другой стороны, ясно, что второе понятие генетически зависит от первого («типы» образовались вследствие ассоциации обособившихся «членов»), что такое определение 2-го должно зиждиться на определении 1-го.

Переходя, далее, к задаче определения «слова-члена» мы прежде всего должны, очевидно, определить более общее понятие *члена* речи. Под «*членом*» мы будем, вслед за de-Saussure'ом, разуметь, *всякую языковую единицу, выделяемую сознанием в процессе речи, путем противопоставления ее тому, что следует за ней, или тому, что предшествует ей, или и тому и другому*. Само собой разумеется, что эти единицы существуют в уме говорящих не только в момент речи, но потенциально и во всякое другое время, т.-е. привычное отношение всякой единицы к предыдущей и к последующей отложилось в сознании путем ассоциаций тоже как особый *тип* связи. Но это именно тип *связи*, а не тип обособившихся из связи элементов. Другими словами, ассоциации тут только *синтаксические* (в широком смысле слова). Яснее всего это будет видно на простейших элементах речи — на звуках. Звук *к*, как *фонема*, т.-е. как «звук-тип» будет ассоциироваться прежде всего со всеми другими *к*, встречающимися в речи, затем, более слабой связью, будет связан с другими задненебными (г, х), другими взрывными (г, б, д, т, п) и т. д., другими глухими (х, т, с, ш и т. д.), при чем все эти ассоциации будут перекрещиваться, наконец, еще более отдаленной связью с другими согласными вообще. Звук же *к*, как «звук-*член*» будет ассоциироваться прежде всего со всеми *гласными* без всякого различия между ними, вернее с гласным звуком, как таковым, и притом прежде всего с гласным, стоящим *после* этого *к*, потому что без такого гласного его даже и произнести невозможно; более слабой связью он будет связан с предшествующим гласным, еще более слабой связью с теми немногими согласными, с которыми он сталкивается в речи (например, с *р*, *л*, *н*, как раз преимущественно те, с которыми он не связан,

как тип). Подобным же образом отрезок «любит», как *тип*, будет связан с отрезками разных *сходных* категорий (словарно: ухаживает, заботится, лелеет, ревнует, ненавидит, ругает и т. д., грамматически: а) любишь, люблю, любовь, влюбленный и т. д. б) сидит, горит, читает, пишет и т. д.), а как член будет связан с предыдущим и последующим (словарно: с названиями всех предметов, которые могут вызывать любовь, с названиями различных способов и степеней любви и т. д.; грамматически: с окончаниями *именительного падежа* предшествующего существительного, *винительного* падежа последующего существительного и т. д.). Все *члены* речи мы разделим на две принципиально различных категории: на *значащие* и *не значащие*. «Не значащими» будут *звук, слог* и *такт* (ритмическое объединение слогов от ударения к ударению), а «значащими» все остальные (значащая часть слова, слово, словосочетание, предложение, сочетание предложений, фраза и т. д.). Условимся называть *значащие* члены *синтагмами* (термин, обычно употребляемый в несколько ином смысле). Тогда мы получим следующую схему речи с ее *основными* синтагмами в порядке убывающей сложности:



Мы говорим про «основные» синтагмы, так как существуют и промежуточные типы (обособленные группы предложений во фразе, обособленные группы слов в предложении, которых мы здесь не можем касаться). В связи с определением «слова», должен быть прежде всего решон общий вопрос: в каком порядке определять синтагмы, в порядке *убывающей* или *возрастающей* сложности, т. е. определять ли, например, «предложение» посредством «слова», или наоборот, и т. д. До сих пор определение происходило не в том и не в другом порядке, а просто все определения тянулись *к слову* («часть» слова посредством «слова», «предложение» тоже посредством «слова», а само слово или никак или очень недостаточно), и

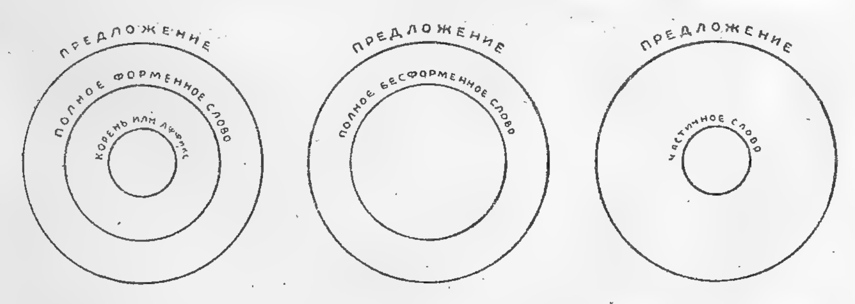
это, конечно, объясняется только «тиранией букв». Ясно, что только один из этих двух порядков возможен, и здесь нам предстоит выбрать один из них. Так как синтагмы есть *значащие* члены, то, очевидно, порядок определения должен соответствовать порядку *внутреннего членения речи-мысли.* Примыкая во взглядах на этот предмет всецело к идеям Вундта и Морриса (S. P. Morris, «On principles and methods in latin syntax, New Jork», 1902), и считая, что внешнее членение речи не есть результат *сложения* представлений, а есть, наоборот, результат *расчленения* первоначального цельного «зародыша» мысли, мы должны, очевидно, определять в порядке *убывающей* сложности. Следовательно, «слово» должно определиться из «предложения» или из «фразы». Далее, 2-й вопрос, который уже прямо подведет нас к делу, будет следующий: отличается ли «слово», как синтагма, чем-нибудь *существенным* от соседней высшей синтагмы (предложения) и от соседней низшей (корень или аффикс), или не отличается. Если бы отличия никакого не было, то определение оказалось бы чрезвычайно простым: «слово» есть синтагма такой-то степени. Если же бы отличие нашлось, его необходимо было бы включить в определение. Для решения этого основного вопроса необходимо прежде всего *совершенно отрешиться от письменной традиции* и представить себе, что мы не знаем, на что распадается предложение. Тогда, мне кажется, обнаружатся следующие *три* разнородных единицы, на которые оно может распадаться:

1) Отрезки предложения, *имеющие собственные ударения* (выдыхательное или музыкальное, безразлично), *допускающие после себя остановку в речи и распадающиеся сами на синтагмы меньшей величины.* Это — «слова» в полном смысле слóва и быть может в единственном смысле, которое бы ему следовало придавать. И если мы *к ним* применим вопрос, поставленный выше о сущности разницы между синтагмами разных степеней, то ответ получится чрезвычайно легкий и быстрый: между ними и синтагмами следующей степени (частями слов), очевидно, есть *существенная* разница, и она состоит именно в том, что «часть» слова не имеет *ни одного* из тех трех признаков, которые только что перечислены: не имеет своего ударения, не допускает после себя паузы и не делится дальше на части. Таким образом здесь при переходе от такого «слова» к «части» слова приходится констатировать действительно резкий *скачок* в отличие от всех предыдущих звеньев нашей концентрической схемы. И частичным осознанием этого скачка и следует объяснить введение деления на слова в письменность. Этот скачок делается особенно ясен, если обозреть всю схему синтаксического и ритмического дробления речи. На *высших* ступенях ее (фраза, группа предложений, предложение, группа слов) синтаксическое и ритмическое дробление в общем и в целом

сливаются. В слове *начинается* расхождение: словосочетания синтаксически делятся на слова, а ритмически на такты, которые не во всем совпадают со словами (только общая ударяемая верхушка и возможность для слова быть тактом). Наконец, *после* «слова» происходит уже *полный* разрыв: синтаксически слова делятся на корни и аффиксы, а ритмически на слоги и звуки, и между тем и другим делением нет уже *никакого* соотношения. Таким образом «слово» в этом его собственном значении есть, действительно, великий рубеж, на котором *смысл порывает с ритмом.*

2) Отрезки предложения, *имеющие собственное ударение и допускающие после себя остановку*, но не распадающиеся на синтагмы меньшей величины. Это так называемые «бесформенные» полные слова («вчера», «здесь», «какаду» и т. д.). Они тоже существенно отличаются от «частей» слова, но уже только двумя признаками, как видно из определения.

3) *Отрезки предложения, не имеющие ни одного из перечисленных выше признаков, но и не составляющие частей тех отрезков, которые определены пунктом 1-м.* Дело идет, как читатель, конечно, уже догадывается, о так называемых частичных словах: предлогах, союзах, отрицаниях и т. д. Это самая трудная и спорная группа. Отличаются ли они хоть чем-нибудь от частей слов? Только одним: не существует тех *слов*, к которым бы они составляли части. Это члены, совершенно аналогичные частям слов, но как бы *рассыпанные* между цельными словами. Отсюда и их синтаксическое значение как синтагм, на которые непосредственно распадается предложение. Отсюда и их раздельное начертание: их *не с* чем писать слитно. Всё это может быть представлено следующей схемой:



Определение «слова», очевидно и будет зависеть от того, какие из этих категорий мы будем называть «словами». Если только первую, то определение дано выше в п. 1-м. Если первую и вторую вместе, то это определение на один признак убавится (признак распадения на части). Если все *три* вместе то определение примет тот вид, о котором было уже сказано: «слово есть синтагма такой-то степени», так как третья категория по *существу* от синтагмы следующей степени не разнится.

В сущности, следовало бы иметь три разных термина для каждой из этих категорий, один термин для первых двух, взятых вместе, один для второй и третьей, взятых вместе, и один для всех трех. Но традиция дала нам вместо шести терминов один — «слово».

О «словах-типах» или о «лексемах», как их, может быть, следовало бы называть по аналогии с фонемами, долго говорить не приходится. Это, очевидно, будут ассоциативные группы, составившиеся из сходных «слов-членов», тем более широкие по объему, чем слабее сходство и вызываемая им ассоциация. Но и тут надо всё-таки установить *принципиально* различные типы. Слово может быть сходно с другим словом *целиком* или какой-либо своей *частью* или частями. С другой стороны, сходство может быть в *звуках* или в *значении* или в том и в другом.

Отсюда получается следующая схема:

А. Группы слов, *сходных между собой целиком.*

1. Слова, *одинаковые и по звукам и по значению:* «я пришел *домой*» и «мы приехали *домой*»; «*блины* с икрой» и «*блины* со сметаной» и т. д. Некоторые ученые, правда, отрицают и здесь возможность полного тождества, так как значение слова определяется только его *окружением*, а это окружение всегда *индивидуально*. Так, слово «домой» будет, конечно, в разных случаях обозначать разные «дома», «блины» тоже в разных местах и в разное время будут разные, и поскольку об этой разнице можно заключить из словесного окружения, эта разница будет языковая. Но разница эта так *ничтожна* и так в лексическом отношении *неважна*, что ею смело можно, думается нам, пренебречь, как математики пренебрегают иногда бесконечно-малыми величинами.

2. Слова, одинаковые по звукам и не одинаковые по значению:

а) значения *почти* одинаковы: «я пошел *домой*» и «русская эмиграция рвется *домой*», «у него умер *отец*» и «Бопп — *отец* языковедения», «*осёл* взнуздан» и «он ужасный *осёл*», «сижу за *столом*» и «нанял комнату со *столом*» и т. д. Любопытно отметить, что вещественно здесь как раз наибольшая разница, гораздо большая, чем при синонимах (дом, как жилище, и вся Россия, родитель и писатель, животное и человек и т. д.), ассоциативно же, наоборот, наименьшая.

б) Значения *вполне различны*, но *возможны ассоциации* (как остаток *прежней* ассоциативной близости): «месяц» = = луна и «месяц» = 1/12 года, «баба» = женщина и «баба» = = трамбовка и т. д.

Так как обе последние группы представляют лишь разные стадии одного исторического процесса расхождения значений и так как абсолютного тождества значений не было и в первой группе, то границ между всеми тремя группами нет *никаких*, как между возрастами человеческой жизни.

в) Значения *совершенно различны:* «*мой* брат» и «*мой* посуду», «*пол*-аршина», «*пол* паркетный», «*пол* мужской» и «из-за длинных *пол*», и т. д. («омонимы»).

3. Слова, *одинаковые по значению и не одинаковые по звукам:* «*нос* пухнет» и «*ноз* болит», «*под* ним» и «*подо* мной», «матидочь» и «сыныбрат» и т. д.

4. Слова, *близкие по значению и не одинаковые по звукам:* смотреть — глядеть — глазеть — видеть, храбрый — смелый — отважный и т. д. («синонимы»).

Соответственной группы слов, «близких по звукам и не одинаковых по значению» здесь быть, конечно, не может, так как «близость по звукам» есть уже сходство не «целиком», а «частями», и эта рубрика имеется в группе Б.

Б. Группы слов, *сходных между собой теми или иными частями.*

1. Части *сходны и по звукам и по значению:*

а) слова *одноосновные:*

α) *несколько* аффиксов различны: девица — девичество — девический, рассмотрит — рассмотрел — рассмотреть — рассмотревший и т. д.

β) *один* аффикс различен: девица — девицы — девицу — девицей, рассмотришь — рассмотрит — рассмотрим — рассмотрите и т. д.

б) слова *однокоренные:*

α) *несколько* аффиксов различны: дева — девки — девичество — девственный, смотрю — посмотреть — рассмотрение — рассматривать и т. д.

β) *один* аффикс различен: дева — девы — деву — девой, смотришь — смотрим — смотрите и т. д.

в) слова *одноаффиксные*

а) *несколько* аффиксов сходны: обеспокоить — обескуражить — обездолить — обесчестить, — раскладывание — распарывание — рассаживание — раскалывание и т. д.

β) *один* аффикс сходен: смотрю — порю — сажу — колю, стола — окна — седла — угла и т. д.

2. Части сходны *по значению, но не по звукам:*

а) слова *синонимично-коренные:* смотр — гляжу — глазение — видишь, храбрый — смелее — отвага, и т. д.

б) Слова *синонимично-аффиксные:* братец — ротик — уголок — самоварчик, красноватый — беленький, стола — воды — кости, столом — водой — костью, волосы — дома, рукой — водою и т. д.

3. Части сходны *по звукам, но не по значению:*

а) *сходные звуковые части образуют морфемы:*

α) *слова омонимично-корневые:* половина — полка — длиннополый, поднос — носик, парный — париться, и т. д.

β) слова *омонимично-аффиксные:* стола — вода — дома́, столы — воды, огни — говори, и т. д.

б) *сходные звуковые части не образуют морфем:* полный — полба, парк — партия, дочь — точь-в-точь, Кавказ — алмаз и т. д.

Само собой разумеется, что рубрика Б допускает огромное количество переходных и перекрещивающихся групп. Прежде всего самое *сходство* звуков или значения или и того и другого в той или иной части может быть всех тех *степеней*, которые установлены в рубрике А. Следовательно «*вада — вады*», например, не то же самое, что «*вада — воду*», «муж — мужик» не то же самое что «муж — мужественный», «стола — воды» не то же самое, что «столов — воды» и т. д. Затем, отношение *числа* сходных частей к числу не сходных тоже может быть самое разнообразное, и т. д. и т. д. Представить полную схему этого рода ассоциативных групп здесь по условиям места, разумеется, невозможно. Но, мы надеемся, и из этого краткого обзора ясно, как условно традиционное деление на «словоизменение» и «словообразование», если эти термины понимать не как категории синтаксических и несинтаксических форм (что относится совсем не сюда, а к учению о частях слова, как синтагмах), а в их буквальном смысле как «изменение слов» и «образование слов». Неужели, например, можно утверждать, что живые языковые ассоциации между «лиса» и «лисица», гораздо слабее, чем между «смотрю» и «смотришь» и что эта разница так велика, что первая пара — *разные* слова, а вторая *одно* слово? Нам думается, что как раз наоборот: «лиса» и «лисица» ближе стоят в языковом сознании друг к другу, чем «смотрю» и «смотрит» (там *смысловая* разница почти отсутствует, здесь — очень важна) и только *общий* перевес основы над синтаксическим аффиксом, бросившийся прежде всего в глаза первым наблюдателям языка, создал термин «склонение» и его отпрыск — «словоизменение».

Но как бы ни расценивать силу ассоциации в том или другом случае, не подлежит сомнению, что то, что мы здесь, скрепя сердце, назвали «словом-типом», не есть вообще «слово», а есть ассоциативная группа слов, и с этой точки зрения термины «словоизменение» и «словообразование» в их противопоставлении друг другу не выдерживают ни малейшей критики.

Глагольность как выразительное средство.

Одной из главных лингвистических идей А. А. Потебни и его школы была, как известно, идея о росте глагольности в эволюции человеческих языков. Глагол, как единственно-возможный синтаксический центр современного предложения, на-ряду с возможностью для предложений прежних эпох иных центров, возникновение безличных предложений из личных, наконец, общее постепенное вытеснение в языках *согласования управлением* (вторая основная идея великого лингвиста, тесно связанная с первой, ибо в центре управления всегда стоит глагол) — всё это привело Потебню к тому, что человеческая речь на протяжении всей своей истории всё более и более «оглаголивается». Идея эта, до сих пор не доказанная и огромным большинством лингвистов не принятая, составляет одну из самых заманчивых и увлекательных сторон потебнианства. Именно она и ей подобные идеи превращают историю языков в историю человеческой мысли и позволяют находить связующие нити между историей языка, с одной стороны, и историей науки, философии, поэзии, с другой (сравн. мое сближение роста глагольности в языках и энергетизма в современной физике, «Русский синтаксис в научн. осв.», стр. 349). Тем важнее становится фактическая проверка гипотез Потебни, обычно крайне скудно обставленных фактами и опирающихся всегда на совершенно случайный материал.

Нижеследующая статья, не ставя себе подобной задачи, так как отправная точка зрения ее чисто стилистическая, попутно привнесет, может быть, кое-что и для этой проверки и притом кое-что *критическое*. Дело в том, что материал, на который мне придется опереться, целиком *противоречит* гипотезе Потебни.

Само собой разумеется, что противоречие это может оказаться и случайным, в том смысле, что отмечаемое мной явление представляет, быть может, только одно из побочных *контр-течений*, ослабляющих, но не уничтожающих основного течения в сторону глагольности. Мы знаем, что в языке всегда происходят одновременно противоположные процессы (сравн. образование новых форм и распад старых), и только количественный учет может показать направление равнодействующей.

Перехожу к предмету статьи.

В одной из разновидностей современного русского литературного языка, в языке нехудожественной (или мало художественной) прозы наблюдается, вопреки Потебне, несомненный *отход* от глагола в сторону отглагольного *существительного*. Явление это уже отмечено в литературе. «Еще одно любопытное явление останавливает на себе внимание лингвиста, наблюдающего язык сегодняшнего дня, это — необычайное распространение существительного за счет глагола. Такие типичные случаи, как: «не принял радио вследствие мешания», или: «в случае отсутствия помощи последует съедание семенных запасов» покажут, что я разумею под гипертрофией существительных. Большинство относящихся сюда примеров — отглагольные существительные на *ание, ение,* несколько меньше на *атие* и др.». (Г. Винокур, «Накануне» 1923 г. № 353). Напрасно только автор приписывает развитие этого явления самому последнему времени, повидимому, революционному. Мои записи уже давно, с 1911 г., навели меня на то же наблюдение.

Другой вопрос, хорошо ли это.

Исследуя стилистически подобного рода факты, мы приходим к убеждению, что восстановление глагола (здесь пока в широком смысле слова, т.-е. включая и инфинитив, и деепричастие и даже причастие) в его правах *всякий раз* дает более *простое*, более *ясное* и более *сильное* выражение. Отглагольное существительное всегда оказывается худосочным потугом на книжность, результатом стремления «образованность свою показать» (конечно, в первоисточнике, сейчас это уже шаблон, употребляемый бессознательно и большею частью даже канонизированный в юридическом языке), чем-то запутанным, бледным, вялым. Вот ряд подобных фактов, которые я располагаю в 2 столбца: налево факты — направо моя стилистическая переделка, состоящая намеренно *только* в замене отглагольного существительного глаголом:

1) Метелл выступил вперед и запретил ему говорить, обвиняя его, *в качестве председателя Сената, в превышении власти.* (Е. Орлов „Александр Македонский и Юлий Цезарь“, биограф. оч. из серии Павленкова)	Метелл выступил вперед и запретил ему говорить, обвиняя его *в том, что он, в качестве председателя Сената, превысил власть.*
2) ... повод *к воздержанию* в подчеркивании своих симпатий (Утро России, 1913, № 74, письма в ред.).	... повод *воздержаться* от подчеркивания своих симпатий.
3) ... без намордников, лишающих их возможности *учинить укушение* (из Обязат. Постановл. сапожковской городской думы о намордниках для собак).	... без намордников, лишающих их возможности *укусить.*

4) . . . *объявление себя Фердинандом царем* Болгарии (Утро России 1913 г. № 153 „Иностранн. жизнь“).

. . . *то, что Фердинанд объявил себя царем* Болгарии. . .

5) А. А. Мотовилов признает грустным необходимость *возврата* к екатерининским способам *пополнения* кадра русских ученых (ibd. № 129, думский отчет),

А. А. Мотовилов признает грустным необходимость *вернуться* к екатерининским способам, чтобы *пополнить* кадр русских ученых (или: *возвращаться*. . . чтобы *пополнять*. . .)

6) . . . но раз как представителями гражданского иска было суду предъявлено требование о *выделении* из вопроса о виновности *вопроса о доказанности* самого события преступления, то суд был обязан . . . („Русск. Вед.“ 1913 г. № 249, Н. Давыдов „По поводу приговора“).

. . . Но раз как представителями гражданского иска было суду предъявлено требование *выделить* из вопроса о виновности *вопрос о доказанности* самого события преступления, то суд был обязан. . .

7) Сообщение *о пользовании британскими военными судами* в случае необходимости *нейтральными флагами*. . . („Русск. Вед.“ 1915 г. Прил. к № 27 П. Т. А).

Сообщение, что *британские военные суда пользуются* в случае необходимости *нейтральными флагами*. . .

8) *Поднятие розничных цен* определило повышение налогов (ibid. № 38, доклад М. П. Федорова).

Поднявшиеся розничные цены определили повышение налога.

9) Признавая недопустимым *обращение* к высшему правительству от лица всего российского дворянства *председателя совета съезда объединенного дворянства* по вопросам государственного характера, не выслушав мнение самого дворянства. (ibid . . . № 294, резолюция уфимского дворянства).

Признавая недопустимым *для председателя совета съезда объединенного дворянства обращаться* к высшему правительству от лица всего российского дворянства по вопросам государственного характера, не выслушав мнение самого дворянства (или еще проще: признавая недопустимым, *чтобы председатель обращался*. . .)

10) *Недостаточная осознанность необходимости* последовательно проводимой системы в зависимости от условий столь же легко *приводит к скатыванию* в неимеющий оправдания в обстановке оппортунизм, как и в легковесный якобы радикализм, *к разрушению* без созидания, *к параличу промышленного труда* вместо его обобществления.

(„Свобода России“ 1918 г. № 7, „Экономическая программа Ларина“, цитата из Ларина — Лурье).

Кто недостаточно осознал необходимость последовательно проводимой системы в зависимости от условий, тот *постепенно* столь же легко *скатывается* в неимеющий оправдания в обстановке оппортунизм, как и в легковесный якобы радикализм, *разрушающий* без созидания, *парализующий промышленный труд* вместо его обобществления (или: „недостаточно *осознать*. . . это значит постепенно *скатиться*“. . . или: „Недостаточно *осознав*“. . . человек постепенно *скатывается*. . .).

11) Как на причину его ареста французские власти указывают на *нарушение им распоряжения о запрещении* въезда в Рур членам правительства (Изв. Ц. И. К. Союза С.С.С.Р. 1923 г. 13 IV телегр.).

Как на причину его ареста французские власти указывают *на то, что он нарушил распоряжение, запрещающее* въезд в Рур членам правительства.

Читатель, надеюсь, не откажется признать, что правые фразы читаются *легче*, чем левые (хотя, конечно, все еще недостаточно легко, так как, повторяю, чтобы не осложнять дела,

я целый ряд вопиющих стилистических промахов оставил без исправления). И притом важно то, что облегчение достигается тем же количеством языкового материала, а подчас даже и меньшим. Правда, все мы так привыкли к изуродованному языку газет, что невольно ищем в нем каких-то преимуществ, и многим, может быть, покажется, что шаблонные «в превышении власти» и «нарушение им распоряжения» *короче*, чем мои: «в том, что он превысил власть» и «то, что он нарушил распоряжение». Но чтобы этого не казалось, достаточно только посчитать число слогов обоих вариантов. Возможно еще, что некоторые будут стилистически шокированы «простотой» моих переделок, найдя, что они не подходят к тому литературному жанру, из которого я беру примеры. Но я должен признаться, что видел бы в этом только силу привычки, подобную той, которая заставляет Акима во «Власти тьмы» протестовать против чистоты и хорошего воздуха в некоторых местах. Думаю, что стилистический хороший воздух должен быть везде, и в газете и даже в своде законов.

Теперь приступим к обследованию приведенных фактов, чтобы выяснить на них, какие именно особенности глагола дают ему преимущества ясности и простоты перед отглагольными существительными. Только такое обследование и может дать нам уверенность, что этот ряд фактов (удлинять который я, конечно, не могу здесь несмотря на имеющийся материал) не случаен, а дает право на известные обобщения.

Остановимся прежде всего на первом примере. Здесь из-за отглагольного существительного произошло прямое недоразумение. Только хорошо помнящий предшествующие события читатель поймет здесь, что председателем Сената был не обвинитель (Метелл), а обвиняемый (Цицерон). Да и он, в конце концов, может представить себе, что оба они были председателями Сената, Цицерон — ранее, Метелл — в момент обвинения. Введение глагола сразу устраняет путаницу. Почему? — Да потому, что только глагол обладает *полной силой управления*. Когда мы говорим: «в качестве председателя Сената превысил», то у нас не может быть сомнения в том, что «в качестве» относится к «превысил». Когда же мы говорим: «обвиняя, в качестве председателя Сената, в превышении», то то же самое «в качестве» тянется *в сторону большей глагольности*, т.-е. скорее к «обвиняя», чем к «превышению». Но так как мелодически слова «в качестве председателя Сената» намеренно выделены, т.-е. оторваны от «обвиняя», то они и остаются висящими в воздухе как бы между двумя магнитами. Правда, лучшая расстановка слов могла бы несколько исправить дело («обвиняя его в превышении власти в качестве председателя Сената»), однако не трудно видеть, что эта заключительная наклейка на слове «превышение» еле держится, что она с ним не *спаивается* и всё время, даже на расстоянии, норовит примкнуть к «обвиняя».

Напротив с «превысил» она спаивается нерасторжимо. Переходим ко второму факту. Здесь мы видим интересный пример развращающего влияния отглагольных существительных на синтаксис и словарь. «Воздержание» — *от* чего, «воздержность» — *в* чем. Но это было для автора слишком сложно. Если бы он употребил более живое и простое слово «воздержаться», то он не сказал бы «*в подчеркивании*». Глагольное управление не так легко перепутать: оно слишком ярко. Напротив, раз ступив на почву газетного стиля, взяв отглагольное существительное вместо глагола, автор сейчас же путает одно отглагольное существительное с другим («воздержание» и «воздержность»). Далее, на этом примере мы можем видеть, какое преимущество в точности выражения мысли дает глагол своими *видами*: можно сказать «повод *воздержаться*» и «повод *воздерживаться*», тогда как в существительном этого различения в огромном большинстве случаев провести нельзя (например, нет слова «воздерживание», вообще виды у существительного хотя и есть, вопреки школьной грамматике, но довольно редки). Наконец, третье неудобство существительного то, что оно не передаст у нас *возвратности*: «воздержаться» и «воздержать» одинаково дают этимологически «воздержание». Правда, в данном случае возвратный смысл закреплен за словом лексически, но слово, «воздерживание», например, если бы мы захотели его ввести, уже было бы в этом отношении двусмысленно, и нам пришлось бы для придания возвратного смысла сказать—«воздерживание *себя*», т.-е. нагромоздить книжность на книжность. В дальнейшем мы с этим недостатком отглагольных существительных еще столкнемся.—Третий пример носит несколько анекдотический характер, но и он интересен тем, что вскрывает другой ходячий недостаток газетного и официального стиля, создаваемый пристрастием к отглагольным существительным: употребление *двух* слов вместо одного. Так как без глагола всё-таки обойтись трудно, то к отглагольному существительному привешивают обычно какой-нибудь бессодержательный глагол: «*учинить* укушение», *произвести* расследование» (= расследовать), «*подвергнуть аресту*» (= арестовать), и всё это только потому, что стыдятся говорить кратко и просто. В следующем примере находим новый важный недостаток отглагольных существительных по сравнению с глаголами: неизбежность в ряде случаев двух творительных при одном и том же существительном («объявление себя *Фердинандом царем*», сравн. то же в 7-м примере: «*пользование британскими военными судами нейтральными флагами*» или: «*обмен книгами и брошюрами специалистами*» Русская мысль» 1916 г. III). Следует признать, что такие два творительных совершенно недопустимы в нашем языке. Они создают чрезвычайную тяжеловесность. При глагольном обороте один из творительных переходит в именительный («Фердинанд объявил себя царем», «суда пользуются флагами»). К этому надо еще

добавить, что, в сущности, оба творительные при существительном держатся слабо (творительный по существу — падеж приглагольный, а не приименный), а так как наш творительный единственного по окончанию часто совпадает (или *почти* совпадает, см. ниже) с *дательным множественного*, то на этой почве *при слабости управления* вновь создаются недоразумения. Так, прочитав у Н. С. Державина в его «Основах методики» следующие строки:

> ... выяснения содержания статьи, разъяснения отдельных слов, постановки учащимся вопросов ...

я так и не понял, кто же кому будет ставить вопросы: учитель учащимся или учащийся учителю. В таких парах, как: «читателем — читателям», «жителем — жителям» разница в окончании хотя и может быть, но столь тонкая, что не может служить основой для распознавания падежей (считаю для первой формы окончанием — *им* или — *эм*, а для второй — *эм*), в таких, как «дедом» и «дедам», «внуком» и «внукам» ее опять совсем нет. Само собой ясно, что при переходном *глаголе*, располагающем почти всегда ясным *двойным* управлением, эти падежи прекрасно различаются: «учитель *ставит учащимся* вопросы», «вопросы *ставятся* учителю *учащимися*».

Пятый пример показывает только еще раз важность видового оттенка в глаголах («вернуться — возвращаться», «пополнять — пополнить», в переделке виды брались мною наудачу, так как контекста у меня нет). Шестой пример вскрывает новый недостаток отглагольных существительных: *неспособность их управлять винительным падежом* (отчасти это можно было вскрыть уже ранее). Всякому ясно, что «*выделить из вопроса... вопрос...*» понятнее, чем «*выделение из вопроса... вопроса...*» Именно отглагольные существительные и создают в газетном и научном языке то нестерпимое нанизывание родительных падежей друг на друга, против которого я ратовал уже в «Русском синтаксисе» («*субстрат явлений* языкового *обнаружения мысли*», «значение *продолжения изучения употребления* соли» и т. д.). К этому присоединяется, в качестве специального недостатка, и двусмысленность нашего родительного от имен одушевленных предметов: «боязнь отца» одинаково обозначает и «отец боится» и «отца боятся», «любовь сына»—«сын любит» и «сына любят» (gen. subjectivus и objectivus) и т. д. При глаголе подобных недоразумений быть не может. Восьмой пример (о седьмом см. выше) наглядно показывает отвлеченность и сухость существительного и живость и образность глагола: «поднятие розничных цен» и «поднявшиеся розничные цены». Форма *времени* в причастии, хотя и далеко не равная по силе предицирования форме времени в глаголе, всё же кладет резкую грань между причастием и существительным: первое рисует самый *процесс* поднятия и тем дает живой образ (то же было бы, если бы было сказано «*поднимающиеся* роз-

ничные цены... определили...» или: «розничные цены, *поднявшись*... определили...». Второе обозначает только результат, и потому мертво. Здесь же опять отсутствие возвратности (ведь «поднятие цен» не говорит нам, сами они поднялись, или их кто-нибудь искусственно поднял), и опять новый специальный недостаток, правда, не всех, но очень многих отглагольных существительных — совпадение именительного падежа с винительным. Я имею в виду распространеннейший разряд отглагольных существительных на-*ние* и-*тие*. «*Поднятие*»... определило... «*повышение*» может иметь, в сущности, два смысла, смотря по контексту: при особых условиях его первое слово может быть не подлежащим, а дополнением, тем более, что вещественный смысл это вполне допускает (повышение налога может также создать поднятие цен, как и обратно поднятие цен — повышение налога). Замена существительного глагольным словом и тут избавляет от двусмысленности. Следующий пример иллюстрирует неспособность отглагольного существительного притягивать к себе деепричастие: «обращение... не выслушав» звучит гораздо менее ясно, чем «обращаться... не выслушав» или «обращался... не выслушав». Следующий (десятый) пример интересен тем, что он как бы сконцентрировал в себе все недостатки «ученого» стиля: и ряд родительных («осознанность необходимости системы»), и приравнение невозвратного существительного к возвратному глаголу («скатывание» от «скатываться»), и уделение глаголам второстепенных ролей в связи с отливкой главных представлений в формы существительных («*приводит* к скатыванию», «*сводящийся* к разрушению», «*не имеющий* оправдания»), и ряд других особенностей, анализ которых вывел бы меня за пределы темы. Весь этот период может быть назван типичным *клиническим* случаем русской прозы, могущим дать материал для отдельной лекции по стилистике. Для нас же здесь важно то, что вся эта уродливость формы явилась прямым следствием одного первородного греха: воплощения основных глагольных представлений в форму существительных. Чтобы убедить в этом читателя, я позволю себе привести еще одну редакцию основной части периода (наиболее неудачной), насытив ее еще больше глагольностью и исправив некоторые другие недостатки:

> Не *осознав* достаточно, что *необходимо считаться* с объективными условиями и в то же время последовательно *проводить* определенную систему, мы *скатываемся* либо в *неоправдываемый* обстановкой оппортунизм, либо в легковесный мнимый радикализм...

По числу слогов эта редакция, правда, несколько длиннее (85 слогов против 80 Ларинских), но так как я прибавил целых два новых прилагательных («*объективными* условиями» и «*определенную* систему»), отсутствие которых чрезвычайно затрудняло ритмически и туманило мысль, то на деле эта редакция на шесть слогов короче. А о большей или меньшей понятности предоставляю судить читателю.

На примере этой последней редакции мы можем вскрыть еще одно достоинство глагола: после «осознав» оказалось возможным поставить союз «что» с дальнейшими глагольностями, тогда как после «осознанность» он невозможен. Это все та же *сила управления*, но переходящая здесь уже за пределы данного предложения. Глагол может вытягивать не только слова, но и целые предложения в ряд зависимых друг от друга величин, а отглагольное существительное редко на это способно (можно сказать: «предположение, что...», «уверение, что...», но неловко: «рассказ, что...», «открытие, что...» и т. д.).

Последний пример (11-й) не дает ничего нового и приведен мной только из хронологических соображений: чтобы показать, что разбираемый недостаток процветает и по сей день.

До сих пор мы брали категорию глагола в самом широком смысле слова. Теперь попробуем сравнить отдельные подразряды этой категории по тем же признакам простоты, ясности и организующей синтаксической силы. Окажется, что качества эти обратно пропорциональны примеси к глаголу других грамматических категорий: наиболее слабой «глагольностью» (в этом, стилистическом, смысле) обладают *причастия* (как раз ярко воплощающие категорию прилагательности), затем, следуют *деепричастия* (несколько более отличающиеся от наречий, чем причастия от прилагательных), затем *инфинитивы* (не имеющие большинства глагольных форм, но зато и не имеющие никаких примесей других категорий) и, наконец, «*глаголы*» в собственном смысле слова, т.-е. *спрягаемые формы*. Неудачная постановка всякой предшествующей из этих 4-х рубрик на место последующей ведет к тем же результатам неясности, водянистости, инертности стиля. Вот примеры:

> Затем на восточном берегу Адриатики высадились итальянцы, *захватившие* Валону, этот ключ к Адриатическому морю, о котором они давно мечтали, и прочно *утвердившиеся* в Валонском районе („Русск. Вед.“ 1915 г., № 127 передов.)

Нужно знать реальные условия фразы, чтобы понять, что захват Валоны произошел *после* высадки, а не перед ней. Фактически сказано только, *какие* итальянцы высадились—те самые, которые... и т. д., а когда они это сделали, не сказано, и даже дан намек на прошлое. На деле же имелось в виду просто то, что итальянцы *высадились, захватили и утвердились*. Оказывается, что мудрствующий газетный стиль может заменять без нужды не только глагол существительным, но и собственно глагол другими глагольными формами — и с тем же результатом. Вот еще пример:

> Ему стало известно *о грозящей опасности* этому лицу, которого (sic) он хотел было предупредить *об опасности* („Русск. Вед.“ 1916 г., № 52 „Сенсационное дело“).

Здесь мысль, собственно, не затемнена, но получилась уродливая конструкция, с повторением предлога «о» и слова

«опасности» в одной и той же форме, из-за того, что не употреблен собственно-глагол:

> Ему стало известно, что лицу, которое он хотел было предупредить об опасности, она уже *грозит*.

Еще пример:

> Мы предполагаем, что серьезное деловое *обсуждение* тех новых течений живописи, *не разделяя которых мы не отказываем им* в праве на существование, а равно и тех театральных идей, сторонниками которых являемся мы, вполне возможно и желательно („Утро России" 1913 г., № 74, письма в ред.).

Заменяем 1-е отглагольное существительное инфинитивом, а деепричастие собственно-глаголом:

> Мы предполагаем, что серьезно и по-деловому *обсуждать* те новые течения живописи, которых мы, правда, не *разделяем*, но которым не *отказываем* в праве на существование, а равно и тех театральных идей, которые... вполне возможно и желательно.

Конечно, и при такой переделке фраза не блещет достоинствами; и при ней остается нелепое «*разделять* течения», канцелярское «а равно и» и т. д. Но нам важно, что, меняя неестественное здесь и созданное общей высокопарностью газетного стиля деепричастие на собственно-глагол, мы получаем нечто всё-таки более удобоваримое

Но всего интереснее газетный факт, который я беру из статьи Г. Винокура «Культура языка» («Печать и революция», 1923 г. V):

> Сегодня российская делегация вручила союзным делегациям пространный меморандум, в котором, еще раз *выразив* протест против недопущения России к работам конференции в полном объеме, российская делегация следующим образом *резюмирует* восточный вопрос.

Автор статьи отмечает неуместное повторение слов: «российская делегация», считая этот «недосмотр» всецело основанным «на привычной для языкового мышления журналиста сложности сочетания грамматических элементов». Это то, что он называет «отрицательной установкой» на сложность синтаксических связей, т.-е. излишнее усложнение и более простых случаев до общего газетного уровня сложности. Но он не замечает, что таких «отрицательных» установок в газетном языке едва ли не больше, чем положительных, что в его собственном языке, обличающем в нем газетного работника, эти отрицательные установки на каждом шагу; и не замечает он этого потому, что требования его к языку крайне не высоки. Так, в данном случае, он не замечает, что основной «отрицательной установкой» было здесь *деепричастие* на месте *собственно-глагола* и что она уже повлекла за собой вышеозначенный недосмотр. В самом деле, если бы было сказано:

«...меморандум, в котором еще раз *выражает* протест против недопущения России к работам конференции в полном объеме и следующим образом *резюмирует* восточный вопрос», то повторение слов «российская делегация» стало бы невозможно. Я прекрасно понимаю, что выражение протеста в меморандуме предшествовало резюмирующей части. Но важно ли было здесь выразить это предшествование? Конечно, нет. Всякий и без того знает, что резюме делается в конце. А если так, то деепричастие, *ничем*, кроме общей мертвенности газетного стиля *не оправдано*. Всё дело в том, что «*выражает* протест» (а еще бы лучше просто «протестует») *при прочих равных* условиях всегда *проще* и потому *сильнее*, чем «*выразив* протест». Следовательно, только *особые* условия могут оправдать появление менее глагольного на месте более глагольного. Там, где этих особых условий нет (а таким случаям нет числа), перед нами голый дурного тона шаблон.

Последняя формулировка вызовет, вероятно, у читателя мысленный вопрос: а какие же эти особые условия? Ответ на этот вопрос выходит за пределы темы. Само собой разумеется, что для каждой части речи эти условия — «особые» и что выделение их создало бы ряд статей о существительном как выразительном средстве, деепричастии как выразительном средстве, и т. д. Конечно, все эти категории существуют в языке не даром, и там, где они *действительно нужны*, сам глагол должен покорно опустить перед ним голову. Но это, повторяю, не входит в тему. Я позволю себе только на двух примерах показать, как иногда незаменимо бывает отглагольное существительное. Первый пример из Куприна:

> Так иногда раздражает непрестанный, скучный, как зубная боль, *плач* грудного ребенка, пронзительное *верещание* канарейки или *если кто* беспрерывно фальшиво *свистит* в комнате рядом («Яма»).

На первый взгляд здесь есть какая-то хаотичность конструкции; хочется трех существительных или трех глаголов. Однако, если вдуматься, то окажется, что все выделенные формы оправданы. «Плач» необходимо было сказать из-за сравнения с зубной болью (нельзя было: «как если непрестанно, скучно, *как зубная боль, плачет*...»), потому что сравниваемые понятия должны быть однородны (кроме того зубная боль объединяется с плачем в эпитете «скучный», а эпитет может быть только при существительном). «Верещание» пошло по следам «плача», так как не было основания менять оборота. Наконец, «беспрерывный фальшивый *свист*» показался автору недостаточно надоедным и недостаточно живо предстоящим уму читателя, и он развернул его в отдельную глагольность: «если кто... *свистит*». Это, между прочим, очень характерно для подтверждения нашей основной мысли о силе глагольности. Автор почувствовал, что «свистит» сильнее доймет читателя, чем

«свист», и так как никакие *особые* условия «свиста» не требовали, он не остановился даже перед сдвигом оборота, чтобы использовать выразительную силу глагола. Другой пример уместности отглагольных существительных — классический:

Шопот, робкое дыханье,
Трели соловья,
Серебро и колыханье
Сонного ручья...

Почему здесь не сказано: «шепчут, робко дышат» и т. д.? Здесь перед нами уже определенное *преимущество* существительного в данных условиях: его *безличность*. Поэту нужно, чтобы не было никакого намека на *лицо*, чтобы читатель мог представлять себе и себя, и автора, и третье лицо. В этой неопределенности лица в связи с общим лирическим строем стихотворения есть особая прелесть недосказанности. А глагол связан с грубым, реальным лицом: шепчут, шепчем и т. д. Правда, безличен еще инфинитив: шептать, робко дышать, и т. д., и из всех частей речи он здесь как раз и подходил бы более всего после существительного (причастие и деепричастие исключались, как не имеющие самостоятельной предицирующей силы). Но построить стихотворения на нем нельзя было, так как предметные черты картины («свет ночной, ночные тени» и т. д.) им не могли быть выражены. Следовательно, единственно возможная форма здесь — существительное.

Итак, у каждой части речи — свои стилистические достоинства. Главное достоинство глагола — это способность управлять, выстраивать вокруг себя длинную шеренгу разнообразных и последовательно зависящих друг от друга слов и предложений, словом, создавать то, что Потебня называл *синтаксической перспективой*. К этому основному достоинству присоединяются два добавочных: видовые и залоговые оттенки. Так называемые «глагольные слова» (инфинитив, деепричастие и причастие) частично разделяют с глаголом эти достоинства и притом не в равной мере, а в порядке *убывания* их от инфинитива к деепричастию и от деепричастия к причастию. Отглагольные существительные за редкими исключениями *не* разделяют этих достоинств. Поэтому речь, построенная на отглагольных существительных, есть речь всегда вялая, путанная, *не расчлененная* на синтаксические звенья и соответственно мелодически бедная, бесформенная. Ей недоступен настоящий период с основным повышением и понижением и с второстепенными повышениями и понижениями внутри того или другого. Ей доступно только *нанизывание* фраз одна на другую в порядке случайности в роде следующего отрывка:

И если, вообще, *опубликование* некоторых итогов работы еще продолжающейся, по существу обречено на *отставание* по *отношению* к действительному *состоянию* вопроса к моменту *выхода* работы в свет, то к данному изданию это относится тем более, что,

во-первых, совершенно неизвестно, какой срок отделит момент *написания* работы от *выхода* ее в свет, а во-вторых, непрестанно ощущается досада по *поводу* того, что с рядом иностранных работ так и не удалось познакомиться, а между тем совершенно ясно, что после работ Сиверса, Сарона и Теннера на немецком языке, Русело, Сведениуса, Пирсона, Верье и Бурдона (последнюю мне так и не пришлось найти в Петрограде) на французском, научная мысль не могла не дать еще ряда блестящих работ, которые, несмотря на то, что относятся к иностранным языкам, несомненно, очень важны в *отношении разработки* общего метода *изучения* данного вопроса (В. Всеволодский-Гернгрос, „Теория интонации". Петроград, 1922 г. из предисловия).

Этот «стиль» под пером преподавателя Института *Живого* Слова наводит на весьма грустные размышления. Очевидно, организующая роль глагольности, столь наглядно вскрытая Потебней, перестает учитываться в языке нехудожественной литературы. И с этим надо бороться. Каково бы ни было в этом отношении общее направление языковой эволюции, мы для данного момента и для данной разновидности нашего литературного языка должны провозгласить лозунг: «*назад* к глаголу!»

Стихи и проза с лингвистической точки зрения.

Существует ли *принципиальная*, не количественная, а качественная разница между ритмом стихов и прозы? — Вот вопрос, который часто поднимался на страницах и общей, и специальной печати, и по которому теоретикам до сих пор не удалось прийти к соглашению. Общеизвестен и общепризнан факт, что художественная проза ритмична, что самая «художественность» ее неразрывно связана с этой ритмичностью, что хорошая проза во много раз ритмичнее плохих стихов. С другой стороны, в области так называемого «свободного стиха» мы встречаемся с такими явлениями, в которых при всем желании не можем найти ничего закономерно-стихотворного. И вот является вопрос, не стирает ли всё это грани между стихами и прозой, не является ли вся художественная проза своего рода «свободным стихом», а стихи — лишь *более или менее* «связанной» прозой.

Попытки стереть или, по крайней мере, по возможности затушевать демаркационную черту, отделяющую в традиционном представлении стихи от прозы, повторялись в литературе неоднократно. «Между прозою и стихом, — читаем мы в одном из авторитетнейших учебников теории словесности [1]), — нет разницы по существу: проза состоит из тех же элементов, из которых слагается стих, т.-е. (например, у нас, в русском языке) из тех же ямбов, хореев, дактилей и т. д.». В недавнее время та же точка зрения безоговорочно отчеканена и доведена до своего логического конца в статье Андрея Белого в журнале «Горн» [2]). Исследуя прозу Пушкина, автор обнаружил, что всё в ней разлагается на те же «элементы», из которых состоит стих, на те же «ямбы», «хореи», «дактили» и т. д. Правда, в ней встречаются и элементы, совершенно неупотребительные в русском стихе, но тут автор привлекает к делу богатую древне-греческую метрику (принципиальное отличие которой от русской ему, повидимому, неизвестно), и то, что невозможно подвести под «ямб», «хорей» и т. д., оказывается «бакхием»,

---

1) Д. И. Овсянико-Куликовский, Теория поэзии и прозы.
2) О художественной прозе, «Горн». II — III, М. 1919.

«молоссом» и т. д. Случаи же, где и греческая метрика не выручает, объявляются нарушениями ритма, «ухабами», что позволяет автору опорочивать ритмически такие, казалось бы, безупречные сочетания, как: «Бопре в отечестве своем был парикмахером, потом в Пруссии солдатом» («потом в Пруссии» — столкновение двух ударений, не подходящее для стиха, и потому—«ухаб»). «Противоположение между ритмом и метром— условность», «проза—тончайшая, полнозвучнейшая из поэзий»— вот окончательные выводы автора.

Не трудно заметить, что рассуждение это может быть продолжено и далее, что на те же «бакхии», «молоссы» и т. д. распадается и не художественная, а научная или газетная проза, что на них же распадется и наша разговорная речь (только, быть может, с несколько большим количеством «ухабов») и что таким образом мы стоим лицом к лицу с открытием, во много раз более приятным, чем знаменитое открытие мольеровского героя: мы узнаем, что мы *всегда говорим стихами.* Но удовольствие, которое мы при этом испытываем, не может изгнать из нас какого-то жуткого чувства неуверенности. Полно, так ли это? Неужели мы *все*—поэты или, по крайней мере, стихотворцы? К тому же в аргументации этого типа мы легко различаем одну грубейшую логическую ошибку, грозящую снести всю постройку так называемое quaternio terminorum. В самом деле, слова «ямб», «хорей», «бакхий» и т. д. употребляются здесь *в 2-х совершенно различных смыслах.* Под «ямбом», например, поскольку речь идет об обычном стихе, разумеется сочетание слогов «безударный + ударный», стоящее *в определенном ритмическом ряду* (по большей части состоящем из таких же сочетаний). Поскольку же речь идет о прозе, под этот термин подставляется *всякое* сочетание типа «безударный + «ударный», независимо от ритмической обстановки. С равным успехом мы могли бы кристалл приравнять к аморфному веществу, потому что он состоит «из тех же» молекул, а то, что излетает из рояля под напором шлепающей ручки ребенка,— музыкальным произведением, потому что оно состоит из «тех же» элементов музыкальной октавы.

На-ряду с вышеизложенным взглядом мы встречаем в литературе немало указаний противоположного характера, указаний на *принципиальное* различие стихов и прозы. Еще Пушкин, характеризуя контраст между Онегиным и Ленским, говорил:

> .... вода и камень,
> *Стихи и проза,* лед и пламень
> Не так различны меж собой.

«Стих и проза—почти разные искусства»,—пишет в недавнее время один из видных теоретиков [1]): «... Разница между фор-

[1]) Б. М. Эйхенбаум. Проблемы поэтики Пушкина. Дом литераторов. Пушкин, Достоевский. Петроград, 1921.

мами прозы и стиха не внешняя, не типографская, а основная, органическая, может быть не меньшая, чем между орнаментальной и предметной живописью». «Проза Толстого, Лескова и Достоевского... внутренно враждебна стиху». Правда, в прозе Пушкина автор тоже улавливает некоторые «математические отношения в частях фразы — наследие стихотворной речи» (насколько основательно — оставляем пока в стороне). Но это потому, что проза Пушкина, по автору, — подготовительный период нашей прозы, перелом между стихом и прозой. Однако все такие общие указания не углубляются в сущность вопроса, в природу ритма стихов и прозы в их взаимной противоположности.

Настоящая статья является попыткой подойти к вопросу со стороны обыденной разговорной речи, осветить его теми, для лингвиста совершенно элементарными, но для большой публики неведомыми сведениями, которые имеются у нас о ритме разговорной речи.

Мы видели, что попытки стереть пограничную черту между стихом и прозой приводят нас не к тому, что поэты пишут прозой, а к тому, что все люди говорят стихами. Это потому, что человеческая речь, действительно, всегда и везде *ритмична*, и вот этот-то первичный речевой ритм [1]) исследователи принимают нередко за «стихи».

Но в чем же состоит этот ритм?

Всем известна основная, мельчайшая ритмическая единица речи — слог. Но немногие знакомы с единицами следующих ступеней: *тактом*, *фонетическим предложением*, *фонетическим периодом*. А главное, весьма и весьма немногие представляют себе основной принцип ритмического дробления речи: чередование усилений и ослаблений напора выдыхаемой воздушной струи и *включение* более легких усилений в более крупные, подобное тому, которое производит музыкант, когда он на фоне какого-нибудь общего, занимающего порой несколько нотных строк, crescendo производит целый ряд мелких, частных crescendo и diminuendo. Усиливая выдыхание внутри каждого слога (на так называемом «слоговом» звуке, в огромном большинстве случаев гласном), мы в то же время производим бо́льшее усиление в определенном месте такта, еще большее в определенном месте фонетического предложения, еще большее в определенном месте фонетического периода. Отсюда и разностепенность

---

[1]) Считаем нужным оговорить, что употребляем это слово в обычном, обще-европейском смысле, а не в том условном, в котором оно утвердилось, с легкой руки А. Белого, в нашей литературе за последнее время, где «ритмом» называются почему-то только те специальные отступления от метрической схемы, какие обнаруживают русские ямб и хорей. Конечно, «ритм» для меня — явление общее, основное, первичное, «метр» — частное, производное, вторичное, а те или иные отступления от метра — еще более частное, производное 2-й степени, третичное.

ударений во всякой живой речи, отсюда и 4 вышеупомянутые ритмические единицы (не считая некоторых промежуточных). Из них мы должны здесь, для наших целей, специально остановиться на единице 2-й степени — *такте*.

Как в слоге слабые звуки (так называемые «неслоговые», по большей части согласные) ритмически объединяются более сильным звуком, слоговым, так в такте слабые слоги (так называемые «безударные») объединяются более сильным слогом (так называемым «ударением» слова). Таким образом, верхушка каждого такта совпадает всегда с верхушкой отдельного полного, ударяемого слова (безударные слова, как многие предлоги, союзы, местоимения и др., конечно, не в счет), но границы между тактами не совпадают почти никогда с границами между словами, так как определяются, в отличие от слов, не смысловыми причинами, а ритмическими. Вот, например, как делится на такты по Томсону[1]) предложение «он приобрел много преданнейших друзей»:

Онприо | брёл | много | преданнейшихдру | зей | .

Надо заметить, что вопрос о границах между тактами — один из самых спорных и трудных вопросов физиологии звуков речи. Но для дальнейшего вполне достаточно будет, если читатель твердо заметит, что: 1) слышимых границ между словами, *нет вовсе*, так как слова — исключительно *смысловые* элементы речи, продукты *внутреннего, неслухового*, анализа ее (в непонятном для нас языке мы не слышим границ между словами, и до тех пор не услышим, пока не начнем понимать его, в родном языке каждый «слышит» эти границы по внушению смысла); 2) слышимые границы между тактами (так же, как и между слогами) состоят не в перерыве речи, а в весьма трудно уловимом *ослаблении* дыхания в определенных местах и в более легко уловимом *замедлении* последних слогов предыдущего такта; 3) настоящие перерывы речи (паузы) возможны лишь в конце фонетических предложений и периодов (конечно, могущих в отдельных случаях сокращаться до размеров такта и даже слога: «Да!», «Здравствуйте!» и т. д.); 4) в русской литературно-разговорной речи граница между тактами в огромном большинстве случаев проходит между ударным слогом и предыдущим безударным (как в приведенном примере), благодаря чему наши такты, почти всегда — ослабевающего, дактило-хореического типа, кроме вступительных, которые, по понятным причинам, часто бывают амфибрахическими и даже иногда анапестическими; 5) *число* тактов в каждом фонетическом предложении во всех языках, кроме так называемых «поющих» (т. е. с ударением музыкальным, а не выдыхательным), во всяком случае, всегда равно числу словесных ударений.

---

[1]) А. И. Томсон. Общее языковедение.

Запасшись этими сведениями, переходим к самому главному. Такты речи проявляют замечательную тенденцию к тому, чтобы длиться *равные промежутки времени*, несмотря на различие числа слогов в каждом из них. Так, вышеприведенную фразу я без большого труда говорил под метрономом так, что каждое ударение совпадало со стуком метронома. Правда, в естественных условиях самый длинный из этих тактов («преданнейших-дру») занимает несколько больше времени, чем каждый из остальных, здесь слышна некоторая заминка, задержка ритма, но во всяком случае читатель, произнося эту фразу вполне естественно, легко может заметить, что такт этот *не в пять раз* дольше такта «брёл», как этого можно было бы ждать судя по числу слогов, а самое большее в $1^1/_2$ — 2 раза, что такт «онприо» уже совершенно равен по длительности такту «много» и ни в коем случае *не втрое* дольше такта «брёл» и т. д. Назовем это явление *изохронностью* тактов. Само собой разумеется, что дело идет не о математической изохронности, а лишь об устремлении к ней, эмпирически всегда борющейся с чрезмерной многосложностью или малосложностью отдельных тактов. Но как бы то ни было, победа принципа изохронности в этой борьбе так разительна, так «бьет в уши», что, раз прислушавшись к ней, легко понять, почему многие готовы везде и всюду (в том числе нередко и в своих собственных, отнюдь не стихотворных, писаниях) находить «стихи». Действительно, всякая речь по природе состоит из почти равных долей — тактов. А когда ее произносят нарочито ритмически (а это всегда бывает, когда хотят доказать стихотворность какого-либо текста), эти доли становятся уж абсолютно равными, т. е. вполне совпадают в этом отношении со стихотворными тактами — стопами. Но само собой разумеется, что основное различие стиха и разговорной речи — урегулирование числа *слогов* в тактах одного и полное отсутствие такого урегулирования в тактах другой — остается в полной силе. Весьма возможно, что элементарное ритмическое наслаждение, доставляемое нам стихом, тем и объясняется, что изохронная тенденция наша не встречает себе в нем никаких препятствий: ей не приходится бороться с *разносложностью* тактов, столь обычной для разговорной речи.

Ради точности надо еще добавить, что тем же стремлением к изохронности отличаются и все остальные ритмические единицы речи: слог, фонетическое предложение и фонетический период, но там это стремление столь резко перебивается другими факторами, что достижения получаются гораздо слабейшие, не могущие быть вскрытыми здесь без чрезмерного отклонения от темы. По отношению к предложениям и периодам стих и тут проводит по большей части искусственное равенство, так как фонетические предложения стиха — отдельные «стихи» — по большей части равнотактны (равностопные стихи), а фонетические периоды (строфы) всегда равностишны.

Теперь прислушаемся к следующим строкам так называемого «свободного стиха» Гейне:

Abendlich blasser wird es am Meer,
Und einsam mit seiner einsamen Seele,
Sitzt dort ein Mann auf dem kahlen Strand,
Und schaut todkalten Blickes hinauf
Nach der weiten todkalten Himmelswölbung,
Und schaut auf das weite wogende Meer —
Und über das weite wogende Meer,
Lüftesegler, ziehn seine Seufzer,
Und kehren zurück trübselig,
Und hatten verschlossen gefunden das Herz,
Worin sie ankern wollten.

Прежде всего заметим, что всякая попытка построить здесь какую-либо обычную тоническую схему (предоставляем читателю проверить это самому) терпят полное крушение. В приведенных 11 стихах только два тонически совпадают (6-й и 7-й), что, конечно, объясняется почти полным словарным совпадением их. Присоединив к ним следующие 16 стихов (2 первые абзаца стихотворения), мы нашли в дальнейшем тоже всего 2 соседних совпадающих стиха, опять-таки со словарно-синтаксическим совпадением (Mit weissen Flügeln Meerüberflatternde Mit krummen Schnäbeln Seewasser saufende), и кроме того 10-й стих совпал с 23-м, а 13-й с 27-м. В обоих этих случаях уже самое расстояние между стихами говорит за случайность такого совпадения. Таким образом, на протяжении 27 стихов *ни одного* подлинного тонического тождества! Поистине, разнообразие, которое как бы намеренно ищется! Попытки посчитать начальные безударные слоги за анакрузы, а конечные за женские окончания в их чередовании с мужскими и даже попытки соединять то и другое толкование привели к тоническому объединению только 4-х стихов: 1-го со 2-м и 23-го с 24-м. Общее число слогов в стихе колеблется от 6 (во всем стихотворении от 5) до 12. Число «ухабов», по терминологии А. Белого, тоже довольно значительно (Schaut todkalten, zurück trübselig, ihn herdenweis, ich aber и т. д.). Наконец, простое сопоставление на слух таких стихов, как:

Und schaut auf das weite wogende Meer...
Und hatten verschlossen gefunden das Herz...

и таких, как:

Lüftesegler, ziehn seine Seufzer...
Ihn herdenweis umflattern,

из которых одни явно ямбически-анапестического склада, а другие явно хореического, показывает, что о тоническом объединении тут не может быть речи. Теперь сопоставим с этими 11-ю строками перевод Михайлова [1]):

[1]) Сочинения Генриха Гейне в перев. русск. пис., под ред. Петра Вейнберга, т. XI.

Меркнет вечернее море,
И, одинок со своей одинокой душой,
Сидит человек на пустом берегу
И смотрит холодным, мертвенным взором
В высь, на далекое, холодное, мертвое небо
И на широкое море, волнами шумящее.
И по широкому, волнами шумящему, морю
В даль, как пловцы воздушные, несутся вздохи его
И к нему возвращаются грустно;
Закрытым нашли они сердце,
Куда пристать хотели [1]).

Никто не станет отрицать, что ритм оригинала здесь схвачен превосходно, что перевод сделан «размером подлинника». Однако, тоническая схема и тут вскрывает 2 поразительные вещи: 1) в самом переводе нет *ни одной* пары тонически совпадающих стихов (даже 6-й и 7-й здесь, благодаря перестановке слов, не совпадают); 2) *ни один* стих перевода, кроме 11-го, не соответствует тонически ни одному стиху оригинала. Сопоставим, далее, перевод Прахова [2]):

Море тускнеет вечернею тенью,
И, одинок со своей одинокой душой,
Сидит на пустом берегу человек
И смотрит мертво-холодным взглядом
На широкое мертво-холодное небо,
На широкое шумное море, —
И по широкому шумному морю
Летят его вздохи, воздушные странники,
И печально назад возвращаются:
Нашли они запертым сердце,
Где ожидали найти себе пристань.

и перевод Чешихина-Ветринского [3]):

Вечереет, бледнеет над морем,
И, одинок со своей одинокой душой,
Сидит человек на голом песке,
Он смотрит мертво-холодным взглядом в высь
К широкому мертво-холодному небу
И на широкое взволнованное море, —
И за широкое взволнованное море
Кораблями воздушными вздохи несутся его
И назад возвращаются мрачно:
На замке нашли они сердце,
Где бросить якорь хотели.

Независимо от художественных достоинств того или другого перевода ясно, что и эти два перевода переведены «размером подлинника». Однако, тонический анализ показывает, что:

---

[1]) В отличие от цитируемого издания я позволил себе расположить стихи перевода соответственно стихам оригинала, что здесь существенно важно.

[2]) Полное собрание сочинений Генриха Гейне, изд. 2-е, под ред. Петра Вейнберга, т. V.

[3]) Цитирую по рукописи, любезно предоставленной мне переводчиком.

1) и в этих переводах *ни один* стих перевода не совпадает с соответствующим стихом оригинала (на этот раз уже без исключения), 2) между соответствующими стихами всех 3-х переводов тоже почти нет совпадений; только 9-й стих Михайлова совпадает с соответствующим стихом Чешихина, да 10-й стих Чешихина с соответствующим Прахова (совпадения 2-го стиха, переведенного всеми 3-мя переводчиками словарно одинаково, и совпадения 3-го стиха у Михайлова и Прахова, тоже словарно-тождественного, я не считаю). Спрашивается, где причина всего этого разнообразия? И что это за «размер» подлинника, который интуитивно передается всеми переводчиками и, несомненно, *слышится* в их переводах, и который, тем не менее, при малейшей попытке анализировать его, оказывается не повторяющимся ни в одном из переводов, в свою очередь сплошь различных между собой? Разгадку я ищу в выясненном выше явлении изохронности тактов речи и в *числе тактов* каждого стиха. «Размером» здесь, очевидно, должно быть то, что *обще* и оригиналу и всем 3-м переводам. А обще им только *число тактов* (= числу ударений) в *стихе*. В оригинале на 88 стихов всего стихотворения приходится 68 стихов четырехтактных[1]), 14 стихов трехтактных и 6 двухтактных. При этом трехтактные и четырехтактные чередуются, повидимому, не в связи с содержанием, а лишь для придания всей системе приятного ритмического разнообразия (явление это я считаю аналогичным чередованию мужских и женских окончаний в тоническом стихе), так что появление каждого трехтактного стиха, взятое в отдельности, само по себе случайно, общий же процент трехтактности, конечно, не случаен; напротив, в немногих двухтактных стихах сосредоточен максимум мысли и чувства, это почти исключительно полновесные стихи:

Schwarzbeinige Vögel...! (обращение к птицам)
Und sie seufzen und singen:...
Versteinert vor Gram!..
Und du prahlst vor Schmerzen!..
In die ewige Nacht...
Es gähnte die Nacht...

и полновесность их как раз и выделена краткостью (только последний из них краток, быть может, по другим причинам, именно для образования особой тактовой *концовки*, так как ему предшествует трехтактный, а за ним следует *последний* стих всего стихотворения — четырехтактный). В общем «размер» стихотворения, с этой точки зрения, можно определить как 4 — 3-тактный с выделением в исключительных случаях особенно значительных стихов в двухтактные. Всё это, как

---

[1]) В сложных словах я считаю везде два ударения, кроме тех случаев, где они рядом, как todkalt, Jungfrau и т. д.

читатель может убедиться уже на приведенных 11 стихах, в точности соблюдено в переводах (только вставлены кое-где пятитактные стихи). При этом трехтактные и в переводах чередуются с четырехтактными довольно безразлично, не в соответствии с оригиналом, а двухтактные в лучшем переводе, Михайлова, переданы по большей части[1]) тоже двухтактно:

Черноногие птицы!
И хва́стаешь ты от страда́нья!..
Окаменело от горя...
В ночь без просвета...

Особенно поучительно сопоставление этих двухтактных стихов со стихами оригинала, при котором ясно обнаруживается как полное слоговое несоответствие перевода оригиналу, так и тактовое соответствие. Наконец, чтобы показать тактовую организованность этого рода произведений, сравним их с обычной, разговорной речью[2]):

Говорят у сестры-то кровать есть!
Ничего, живет как следует.
А у этой ничего.
Тамара звать-то ее.
У нее вид совсем дурной, Маня!
Она без платка была,
А то оденет какую-то тряпку черную...
Ничего не делает,
А себя в порядок не приведет,
Ну как же!
Идешь на службу — одеться надо приличнее.
На тебя другой взгляд.
Да нет, Маня!
Просто-напросто неряхи они!

Мы видим, что число тактов в этих фонетических предложениях совершенно хаотично (4, 3, 2, 3, 5, 3, 5, 2, 3, 2, 5, 3, 2, 4), соответственно чему они не доставляют никакого ритмического наслаждения и не создают никакой ритмической цельности.

Итак, перед нами особого вида ритмическая система, основанная не на урегулировании числа слогов в такте и побочном, вспомогательном урегулировании числа тактов в стихе (как тоническая), а исключительно на 2-м из этих признаков, причем художественными средствами являются, с одной стороны, равенство тактов в отдельных «стихах», а с другой стороны, намеренное, эстетически целесообразное, неравенство их. Условно,

---

[1]) Трехтактно переведены только 2-й из вышеприведенных, как раз наименее значительный, да последний («раскрыла черную пасть свою ночь»), двухтактный перевод которого представил бы почти непреодолимые трудности.

[2]) Записано со стенографической точностью. На фонетические предложения разбито по паузам.

в виде уступки традиции, можно, конечно, называть эту систему стихотворной, и в таком случае мы бы предложили термин: «тактовый стих». Но всего вернее ее было бы назвать «мерной равнотактной прозой».

Такое понимание свободного стиха требует нескольких оговорок:

1) Отнюдь не следует себе представлять, что таким стихом легче писать, чем тоническим. Это было бы так же наивно, как предположение, что белыми стихами легче писать, чем рифменными. В искусстве уменьшение средств при той же полноте достижения всегда сопряжено с бóльшими трудностями. Во всяком случае, у авторов подобного рода стих — не примитив, а искание новых путей.

2) В отдельных случаях возможна комбинация тактового начала и тонического. Такую комбинацию я вижу, например, в «Сказке о рыбаке и рыбке», которая в общем строго выдержана в тактовой системе, в форме 4 — 3-тактного стиха (с преобладанием 3-тактного, принятое ныне сведéние *всех* стихов к трехтактности считаю явной натяжкой), без всякого отношения к слоговому началу, кроме одной маленькой детали: последний такт *никогда* не бывает односложным, вследствие чего *все* окончания стихов женские (единственное исключение: «с травою морской» — я толкую, как нарочитую грамматическую диссимиляцию, стих 79-й читаю: «А землянки нет уж и *слéда*»). Говоря априорно, возможно вообще избегание слишком малосложных (например, односложных) или слишком многосложных тактов в тактовой системе, что опять-таки приближало бы ее к тонической. Но здесь необходимы дальнейшие исследования. Если сравнить вышецитированные переводы с приведенным разговорным отрывком, то такого наблюдения сделать нельзя: в переводах встречаются даже более многосложные такты, чем в разговоре (например, 7-мисложный у Михайлова в 7-м стихе: «И по широкому вол-»); что касается односложных, то переводы действительно избегают их, но в оригинале они очень часты.

3) Этого рода систему отнюдь не следует смешивать с *настоящим свободным стихом* такого типа, как:

Ich weiss nicht, was soll es bedeuten,
Dass ich so traurig bin...

Ueber allen Gipfeln
Ist Ruh.
In allen Wipfeln
Spürest du...

Русалка плыла по реке голубой,
Озаряема полной луною...

Когда Мавр пришел в наш родимый дом,
Оскверняючи церкви порог,
Он без дальних слов выгнал всех чернецов...

и даже такого, как:

Неверная! Где ты? Сквозь улицы сонные
Протянулась длинная цепь фонарей,
И, пара за парой, идут влюбленные,
Согретые светом любви своей.
Где же ты? Отчего за последнею парою
Не вступить и нам в назначенный круг...

Следует отличать *отступления* от тонической системы, производимые на общем фоне ее и внутренно *дополняющие* ее, как дополняет в живописи асимметрия симметрию, а в музыке дисгармония гармонию, и отсутствие самого этого фона, которое мы нашли в тактовой системе. Условия места не позволяют мне анализировать здесь этого истинно свободного стиха, в котором «свобода», как и в государстве, всегда лишь оттеняет «правопорядок». Замечу только, что подобно тому, как в нашем хорее или ямбе достаточно иной раз 2-х, 3-х полноударных стихов и *несовпадения* между собой отступлений в остальных стихах, чтобы сообщить яснохореический или ямбический характер всему стихотворению, заключающему в себе более сотни «неправомерных» стихов, так и в свободном стихе достаточно 2-х, 3-х правильных тонических стихов, чтобы всё остальное уже сознавалось на фоне их, как божественная, очаровательная «неправильность».

Теперь переходим к последнему пункту нашего исследования. Прислушаемся к следующему отрывку:

Чу́ден Дне́пр при ти́хой пого́де,
когда во́льно и пла́вно мчи́т сквозь леса́ и го́ры
по́лные во́ды свои́.
Ни зашелохнёт, ни прогреми́т.
Гляди́шь и не зна́ешь,
идёт или не идёт его велича́вая ширина́;
и чуди́тся, будто ве́сь вы́лит он из стекла́,
и будто голуба́я, зерка́льная доро́га,
без ме́ры в ширину́,
без конца́ в длину́,
ре́ет и вьётся по зеленому ми́ру.

Тот же отрывок можно расчленить и так:

Чуден Днепр
при тихой погоде,
когда вольно и плавно
мчит сквозь леса и горы
полные воды свои.

Ни зашелохнет,
ни прогремит.
Глядишь и не знаешь,
идет или не идет
его величавая ширина;
и чудится,
будто весь вылит он из стекла,
и будто голубая зеркальная дорога,
без меры в ширину,
без конца в длину,
реет и вьется
по зеленому миру.

Возможны и различные комбинации того и другого чтения, при чем наиболее вероятным представляется субординирование дополнительных пауз 2-го варианта паузам первого (вторые короче, первые длиннее). Но здесь для простоты мы рассмотрим только два крайних случая. В первом случае получаются 11 фонетических предложений следующего тактового состава: 4, 5, 3, 2, 2, 4, 4, 3, 2, 2, 4. Во втором случае — 17 фонетических предложений следующего состава: 2, 2, 2, 3, 3, 1, 1, 2, 2, 3, 1, 3, 3, 2, 2, 2, 2. По сравнению с «тактовым стихом» мы находим здесь полную пестроту чисел или во всяком случае отсутствие ясно выраженного преобладания одних чисел над другими. По сравнению с разговорной речью мы не находим на первый взгляд никакой разницы. Однако, непосредственное чутье говорит нам, что гоголевский текст поет, а разговорный скрипит. В чем же дело? Прежде всего, вглядевшись внимательно в цифры, мы замечаем некоторую разницу: в разговорной речи (см. выше) цифры всё время меняются (нет 2-х цифр подряд одинаковых); у Гоголя на каждом шагу соседние цифры оказываются одинаковыми. Стало быть, пестрота здесь не так уж велика, как в разговорной речи. Затем, что еще важнее, анализируя причины самой *смены* одной цифры на другую, мы в разговорной речи не найдем для нее никаких эстетических оснований. Напротив, у Гоголя при внимательном изучении всякая смена оказывается глубоко обоснованной. По условиям места, мы можем показать это здесь только на нескольких примерах. При чтении по первому способу, предложения, непосредственно заканчивающие период, оказываются ритмически выделенными благодаря уменьшенному или, наоборот, увеличенному числу тактов:

Чуден Днепр при тихой погоде, (4)
когда вольно и плавно мчит сквозь леса и горы (5)
полные воды свои (3)

... без меры в длину, (2)
без конца в ширину, (2)
реет и вьется по зеленому миру. (4)

Это то, что можно назвать «тактовой концовкой». При чтении по 2-му способу 1-я концовка остается в полной силе,

2-я чуть-чуть затушевывается, но ни в коем случае не исчезает, так как пауза после слова «вьется» будет во всяком случае меньше, чем 2 предыдущие паузы (после «ширину» и «длину»); объединенность последних 2-х предложений все-таки сохранится. Далее *двухтактность* и *парность* предложений: «ни зашелохнет, ни прогремит», «глядишь и не знаешь», с одной стороны, «без меры в ширину», «без конца в длину»—с другой, при первом способе чтения, резко бьет в глаза. Эти двухтактные и парные места (к тому же *грамматически* попарно симметричные), окруженные непарными и некраткими, несомненно корреспондируют друг с другом, как параллельные *ритмические контрасты* к окружающему. При втором способе чтения бросается в глаза *однотактность* предложений «ни зашелохнет» и «ни прогремит», резко совпадающая с энергией содержания (энергичная краткость). Тактовое соответствие предложений «без меры в ширину» и «без конца в длину» (при *слоговом* несовпадении, заметим кстати) ощущается при обоих чтениях очень резко. В предложениях: «и чудится, будто весь вылит он из стекла», «и будто голубая зеркальная дорога», без меры в ширину» — мы находим *постепенное* убавление на один такт, планомерно сводящее длинные построения к кратким. При втором чтении здесь выделяется опять эмфатическая однотактность предложения «и чудится» и параллельная трехтактность (на-ряду с грамматической параллельностью) обоих следующих предложений. Так как наиболее вероятным, повторяем, является комбинированное чтение с подчинением одних пауз другим, то, в сущности, все эти замечания относятся и к тому и к другому чтению. Этот анализ, по условиям места, не может быть продолжен, но сказанного, кажется, достаточно, чтобы считать доказанным, что число тактов в фонетических предложениях здесь *эстетически организовано*, в отличие от разговорной речи. Если «Песни Северного Моря» Гейне назвать «тактовым стихом», то этот отрывок надо назвать «*свободным* тактовым стихом». Но вернее, конечно, и там и тут говорить о *мерной прозе*, которая там определится как «равнотактная», а здесь как «разнотактная».

Окончательные выводы наши можно формулировать следующим образом:

1) Ритм тонического стиха основан на урегулировании числа безударных слогов в такте и лишь как подсобным средством пользуется урегулированием числа самих тактов в фонетических предложениях.

2) Ритм художественной прозы, напротив, основан на урегулировании числа тактов в фонетических предложениях и, *может быть*, пользуется как подсобным средством, частичным урегулированием числа безударных слогов в такте, но во всяком случае без доведения этого урегулирования до каких-либо определенных схем.

3) Все попытки подогнать прозаические такты к стихотворным (стопам), столь частые в нашей литературе, терпят поэтому и должны терпеть, несмотря на огромное количество натяжек, всегда и везде полное крушение. Если у Тургенева и Пушкина и можно найти кое-где тонически построенные предложения (именно у них их искали), то это несомненно эстетический *недостаток*, внесение в одно искусство законов другого. Но надо помнить, что тоническое построение предложения, взятого в отдельности, еще не доказывает, что в данном *контексте* оно сознается тонически. Здесь всё зависит от ритмической обстановки, которая исследователями часто игнорируется. Отдельные «стихи» попадаются и в нашей разговорной речи, но они там не сознаются стихами.

Замечу в заключение, что многое из написанного «стихами» придется перевести, при таком разграничении, в разряд художественной (имею в виду самый жанр, а не степень художественности) прозы. В самом деле, чем отличается формально такой, например, отрывок:

Она пришла с мороза,
Раскрасневшаяся,
Наполнила комнату
Ароматом воздуха и духов,
Звонким голосом
И совсем неуважительной к занятиям
Болтовней [1]).

или такой, как:

Кто спросит луну?
Кто солнце к ответу притянет —
Чего
Ночи и дни чините...
Кто назовет земли гениального автора? [2])

от прозы Гоголя, Тургенева, Толстого и др.? Только тем, что здесь применен *новый знак препинания: недоконченная строка*, благодаря которому нам не приходится уже гадать о ритмических замыслах автора, как при анализе текста остальных прозаиков, а мы читаем прямо так, как хотел автор. Этот новый знак (соединяемый, правда, к сожалению, часто с игнорированием старых знаков, тоже весьма полезных) есть огромное приобретение для нашей литературы. Но от применения его написанное прозой не делается стихами.

---

[1]) Александр Блок, сборник «Земля в снегу», стихотворение «Знакомое».

[2]) В. Маяковский, «150.000.000». Гос. Изд. 1921 г.

Десять тысяч звуков.

(Опыт звуковой характеристики русского языка, как основы для эвфонических исследований.)

В последнее время в трудах по поэтике очень много внимания уделяется звуковому составу поэтических произведений. Так называемая «звуковая инструментовка» признана одним из основных композиционных стержней. В отдельных стихотворениях и частях стихотворений обнаруживается индивидуальный подбор звуков и индивидуальное их расположение, и обе эти черты, удачно или неудачно, приводятся в связь то с содержанием данного произведения, то с общими законами благозвучия и благоритмики, чем и доказывается органичность данной звуковой индивидуальности. При этом отправными пунктами подобного рода исследований всегда служат две идеи: 1) идея о *преобладании* в данном тексте того или иного звука или той или иной категории звуков, 2) идея об особом композиционно-оправдываемом *размещении* этих преобладающих элементов на протяжении всего стихотворения. Отсюда и выражение: «инструментовка на такой-то звук» или «такие-то звуки». В иных случаях, там, где дело идет о так называемой «звуковой живописи», ограничиваются даже только первой стороной: указывают на преобладание того или иного звука (или категории звуков) и прямо связывают это преобладание с содержанием. При таких условиях исследователю поэтического произведения чрезвычайно полезно было бы иметь хоть какую-нибудь *объективную мерку* для установления самого *факта* преобладания того или иного звука. Между тем такой объективной мерки у него нет. Он не знает, каков *обычный, некомпозиционный процент* употребления данного звука в речи. Он судит исключительно интуитивно, на слух (если, что еще хуже, не на глаз). Ему *кажется*, что такого-то звука в тексте «много», а такого-то «мало». Методологически это совершенно то же, что обычные житейские обобщения на основании 2-х, 3-х фактов (например, утверждение после встречи с 3-мя погребальными процессиями в течение одного дня, что «вся Москва перемерла»). Конечно, интуиция часто угадывает истину. Конечно, в знаменитом стихе: «чуть слышно, бесшумно шуршат камыши» процент звука *ш* непомерно

част (6 на 29, т.-е. 20,69% вместо обычных 2,52%, см. табл. I), так же, как и в известной польской шутке; nie pieprzi, Pietrze, wieprza и т. д. Подобным же образом и человек, попавший в зачумленный край (продолжая предыдущее сравнение), справедливо заметил бы без всякой статистики, по одним частым встречам с похоронами, что дело неладно. Однако, отсутствие объективной базы, поскольку речь идет о науке, терпимо быть не может. Оно грозит ошибками субъективного свойства, с одной стороны, и ускользанием из поля наблюдения целого ряда фактов — с другой. В самом деле, интуитивно отмечается только такого рода преобладание, которое так сказать «бьет в уши». Преобладание средней степени может остаться незамеченным. Далее, *степень* преобладания остается во всяком случае неизвестной. А между тем для сравнения отдельных произведений между собой и отдельных «инструментовок» между собой она должна иметь большое значение.

Все эти соображения побудили пишущего эти строки проделать статистическую работу над звуковым составом разговорно-литературной русской речи. Работа эта связана с рядом принципиальных и технических вопросов, так что необходимо, прежде чем приступить к изложению результатов, подробно описать методы и общий план ее.

Прежде всего сомнение может вызывать целесообразность выбранного для подсчета числа звуков. Почему 10.000, а не большее число? Звуковой состав каждого разговора и каждой фразы зависит, конечно, от звукового состава слов, в них входящих. А звуковой состав слов зависит от *содержания* данного разговора. Это заставит многих, может быть, даже усомниться в возможности вообще статистического обследования языка. «Там, где много говорят о хлебе (в деревне, например)», — скажут они, — «будут часто повторяться звуки *х*, *л* и *б*, а там, где много говорят о поэзии, будут повторяться *п* и *з*. Какая же тут возможна закономерность?» Другие, менее решительные, под влиянием таких же опасений, скажут априорно, что 10-тысячного подсчета для такого явления как язык совершенно недостаточно. Конечно, такая аргументация, упоминаемая мною только потому, что она встречалась мне как возражение даже из среды ученых лингвистов, обнаруживает полное незнакомство со статистическим методом. На самом деле, самый беглый подсчет показывает, что в области звуков мы имеем как раз блестящий пример проявления закона больших чисел и притом на ничтожном сравнительно материале. Вот, например, процент гласных, в десяти сотнях одной из подсчитанных десяти тысяч: 1) 41, 2) 42, 3) 40, 4) 37, 5) 41, 6) 39, 7) 45, 8) 42, 9) 46, 10) 45. Не трудно заметить определенную устойчивость этих чисел. Колебания не так уже велики: от 37 до 46. Арифметическое среднее из всех 10 чисел даст 41,8%. А результат моего подсчета 10.000 звуков — 42,35%. Таким образом, если бы

я взял вместо 10.000 всего одну тысячу, я ошибся бы по сравнению с данным исследованием всего на 0,55%. А если бы взял одну *сотню*, то в самом несчастном случае (4-я сотня) ошибся бы всего на 5,35%! И это при условии перебегающего с темы на тему разговора и даже просто отрывочных, подслушанных в толпе фраз, как читатель убедится из ниже помещаемого текста (см. прил. 2-е)! Ясно, что мы имеем дело с чрезвычайно наглядным для статистического метода материалом: основные звуковые пропорции намечаются уже *в первой попавшейся сотне звуков*. И, пожалуй, более справедливое возражение мне может быть сделано с противоположной стороны: зачем я подсчитывал так много звуков. На это у меня имелись особые соображения.

Прежде всего вышеуказанная устойчивость проявляется в сотнях только по отношению к целым *категориям* звуков (как гласные и согласные), но еще не к отдельным фонемам. Так, например, в тех же сотнях звук *и* (безударное) встречается в следующих числах: 1) 1, 2) 6, 3) 4, 4) 3, 5) 5, 6) 1, 7) 3, 8) 3, 9) 6, 10) 3. Ясно, что колебания от 1 до 6 не то же, что от 37 до 46 (несмотря на абсолютно-бо́льшую амплитуду во втором случае), что никаких «больших чисел» здесь еще нет, и никакие статистические выводы невозможны. А так как основной моей целью было определение частости каждой отдельной фонемы, то выход за пределы сотни был неизбежен. Далее, так как некоторые звуки очень редки, и даже на материале тысячи звуков встречаются мало (так, например, звук *ж* от 3-х до 17 раз на тысячу, *ф* от 3-х до 15 раз, см. табл. I-ю), то, чтобы получить для них большое число, необходимо было выйти уже и за пределы тысячи. Правда, есть звуки, которые так редки, что и в 10.000 звуков почти или совсем не встретились (γ, т.-е. звонкое фрикативное *г*, встретилось всего четыре раза, а аффрикаты *дз* и *дж* не встретились *ни разу*). Но таких звуков оказалось уже так мало (всего упомянутые 3), что ради них не стоило нагромождать материал, который для них должен быть огромен (см. табл. I, где скачок от предпоследнего по редкости *ж* до последнего γ крайне велик: 88 — 4). Повидимому, чтобы получить для γ такое же большое число, какое здесь получено для *ж*, пришлось бы подсчитать 200.000 звуков, что для всех остальных звуков совершенно не нужно. Поэтому я предпочел оставить под сомнением найденный процент γ (0,04) и совершенно неизвестными проценты *дз* и *дж*, ограничившись общей уверенностью, что звуки эти чрезвычайно редки.

Другим соображением, толкавшим меня на столь большое число, как 10.000, был тот специально эвфонический уклон данного исследования, о котором еще не раз придется говорить. Для сравнения русского языка с другими языками достаточны более приблизительные величины. Но при сравнении отдельных разновидностей русского языка между собой (например, стихо-

творного с художественно-прозаическим или с научным или разговорно-литературным), для которого эта работа пытается подготовить почву, различия могут оказаться так невелики, что для вскрытия их будет необходима бо́льшая точность чисел.

Само собой разумеется, что десятичное число избрано для удобства вычисления процентов. Благодаря ему все итоги этой работы представляют одновременно и проценты, и абсолютные величины. Для получения вторых из первых надо только везде зачеркнуть запятые.

Теперь перехожу к важнейшему — к приемам фонетической записи.

Материал записи — обыденная, разговорная речь русского интеллигента и полуинтеллигента. Запись делалась дословно, целыми фразами, в момент разговора. Само собой разумеется, что в виду скорости речи приходилось выхватывать памятью отдельные фразы, выпуская другие. Вот почему разговоры эти производят бессвязное впечатление, хотя основную тему, по большей части, уловить можно. В некоторых случаях, впрочем, бессвязность получилась еще бо́льшая вследствие свойства самого материала. Именно *одна* тысяча звуков (3-я) подсчитана на отдельных фразах, взятых из моих синтаксических записей, фразах, заинтересовывавших меня спорадически в течение последних 15 лет своей синтаксической стороной и не имеющих между собой никакой связи. В нескольких других случаях бессвязность создавалась тем, что записывались реплики от разных групп разговаривающих одновременно. Объясняется это тем, что все записи (кроме вышеупомянутой 3-й тысячи) делались в местах общественных: в общежитии Наркомпроса (Харьков, 1920 год), в вагоне железной дороги (подмосковный дачный поезд в 1923 году и поезд Москва-Ростов в 1924 г.), в больнице (Москва 1924 г.). Так как для статистических целей важно разнообразие материала, то бессвязность, на мой взгляд, недостатка не составляет. Напротив, связная, вопросно-ответная форма записи представляла бы известный минус в виду частого повторения одних и тех же слов в вопросах и ответах.

Хотя записывалась, как уже сказано, речь разговорная и даже чаще всего полуинтеллигентская, однако при фактической обработке (первоначальные записи делались для скорости нефонетически), она просеивалась через *орфоэпическое сито*. Подсчитана не та речь, которая фактически была услышана, а та, которая теми же словами и фразами была бы сказана с эстрады или трибуны. Причиной такой переработки слышанного был всё тот же литературно-эвфонический уклон работы. Ведь при исследовании звукового состава отдельных литературных произведений, поскольку оно будет опираться на данную работу, важно будет выяснить своеобразность самого подбора звуков, а не те отличия, которые создаются всяким эстрадным произношением по сравнению с скороговорочным. Всякое литературное

произведение можно произнести скороговоркой и получить огромную фонетическую разницу, но не в этом совсем тут дело. Следовательно, имело смысл не осложнять предстоящих сравнений этим привходящим элементом скорого и небрежного произношения в разговорной речи. Напротив, необходимо было создать для этого будущего сравнения положение ceteris paribus. Диалектическим же примесям уже и по лингвистическим соображениям не было места в работе, направленной на исследование специально литературного наречия. Вот почему слышанное и подвергалось коренной переработке. Приведу несколько примеров ее. Несмотря на богатство разговорной речи слоговыми согласными звуками, ни один из них не попал в запись. Даже такие случаи, как суффикс-*тель*, который в разговорной речи *всегда* произносится со слоговым *л*^{ь} (учитл$^{ь}_{о}$ница, предусмотритл$^{ь}_{о}$ный и т. д.), выписывались в эстрадной форме. Далее, конечные *т* и *д* перед начальными *с* и *з* выписывались не как аффрикаты («воц сад», «водз завод»), а как *т* и *д* («вот сад», «вод завод»), несмотря на то, что разговорная речь пользуется здесь исключительно аффрикатами. Далее, те же конечные *т* и *д* после *с* и *з* и перед начальными согласными не выпускались, как это обычно делается в разговорной речи («ес^{ь} веревка», гвоз^{ь} большой»), а выписывались («есть веревка», гвоздь большой»), и только *в одном* случае, перед *т*, произведен выпуск («ес^{ь} только»), так как произношение двух *т* здесь уже и для эстрады представлялось немыслимым. Таким же образом и твердые прилагательные мужского рода все кончаются у меня на *ъй* (добръй, умнъй), хотя в настоящее время, к сожалению, уже почти все говорят «добрый», «умный»; *г* в словах «бога» и «богатый» транскрибируется, как γ, *щ* всегда = «*ш*^{ь}*ш*^{ь}» и т. д. Далее, по тем же соображениям из двух разновидностей литературного произношения орфографических *е*, *я* и *а* (после шипящих) неударяемых, именно из звуков *э*^{и} и *и*, выбран первый, хотя фактически слышался везде 2-й (слышалось «висна», «бигу», «пиримена», а писалось «ве^{и}сна», «бе^{и}гу», пе^{и}ре^{и}мена. Второе произношение несомненно более свойственно эстраде и декламации. Кроме того, тут действовало еще и то соображение, что второе произношение хронологически *старше*. Есть все основания думать, что Пушкин и его эпоха произносили еще «ве^{и}сна». А так как максимум эвфонических изучений приходится как раз на пушкинский период, то имело смысл и здесь взять из современности то, что ближе

подходит к Пушкину. Отмечу попутно, что выбор *э*^{и} вместо *и* имел большие последствия не только для самих этих звуков, но и для звука *й*. Именно, все глагольные формы, столь частые в языке, транскрибировались уже с ним (читайэ^{и}ш, знайэ^{и}т), тогда как для «икающего» произношения их пришлось бы транскрибировать без *й*: читаиш, знаит.

Особо следует оговорить те случаи, где две разновидности литературного произношения представлялись одинаково пригодными для эстрады. Сюда относятся две категории фактов: 1) Ассимилятивное смягчение согласных. Эти случаи представляли наибольшие трудности для транскрипции. Что считать орфоэпическим: «армия» или «ар^{ь}мия», «вместе» или «в^{ь}месте», «общественный» или «общес^{ь}твенный»? Здесь я пользовался по большей части советами и указаниями лингвиста, специально занимающегося сейчас вопросами орфоэпии, Д. Н. Ушакова, которому и пользуюсь случаем выразить глубокую благодарность. 2) Безударное или ударное произношение таких слов, которые то бывают так называемыми «прислонками», то имеют самостоятельное ударение и значение. Таких слов очень много, и это как раз самые частые слова в разговорной речи: все падежи, числа и роды слов «я», «ты», «он», «тот», «этот», «сам», «весь», «кто», «что», слова «где», «там», «здесь», «вот», «даже», «тоже», «если», «или», разные формы от глагола связки («был», «будет») и др. Здесь я руководился главным образом памятью, так как ритмо-мелодическую форму фразы (а с ней и все ударения) гораздо легче запомнить, чем отдельные звуки, и всё записанное звучало у меня в ушах со всеми ударениями. Таким образом, здесь я дал место сырому факту, исправляя его лишь в исключительных случаях.

Второй особенностью записи является ее нарочитая *приблизительность, упрощенность*. Всякая работа может производиться и годы и месяцы. Для данной пришлось выбрать второй срок. Это обусловило отсутствие многих деталей. Так, например, фаукальные и латеральные *т* и *д* особо не подсчитывались. Особенно об этом приходится пожалеть в случаях мягкости этих *т* и *д* (сегод^{ь}ня, сот^{ь}ня и т. д.), так как в этих случаях эти звуки особенно разнятся от обычных *т*^{ь} и *д*^{ь} (что мягкость тут однако есть, доказывается ясно сужением предыдущего э: «см^{ь}э^{и}тливый», а не «см^{ь}этливый» и смягчением предыдущих согласных: «талан^{ь}тливый», а не «талантливый»). Далее, звуки *и* неслоговое и *j* соединены в одном *и* неслоговом (на письме *й*). Здесь мне приходится оправдывать

не столько самое соединение (различение этих 2-х звуков при современном состоянии вопроса потребовало бы отдельного предварительного исследования), сколько выбор именно *и* неслогового, а не *j*-а. Объясняется он тем, что даже в нашем общепринятом йоте (т.-е. перед ударным гласным: «яма», «есть» и т. д.) нет на мой слух того настоящего йота, который звучит в немецких ja, jubeln и т. д. Это какой-то «йотообразный» звук, как признаёт и большинство исследователей. А раз мы на одной стороне имеем самое несомненное *и* неслоговое, притом чрезвычайно частое (во всех прилагательных: добръй для имен. мужск. рода и род.-дат.-твор.-предложного женского, добръйъ для имен. женск. и средн. рода добруйу, добрейъ, и в огромном большинстве глаголов: читайу, умейу, рисуйу, т.-е. во всех на *аю,-ею,-ую*), а на другой гораздо более редкий и *не настоящий j*, то ясно, что фактическое положение дела более было бы извращено слиянием этих звуков в одном *j*-е, чем в одном *й*. Правда, выделение *й* осложнило деление звуков на гласные и согласные. Лингвистически *й* звук определенно гласный. Эвфонически он во многих случаях должен присчитываться к согласным (основания см. ниже). Но мне кажется, что, выделив этот звук в особую группу, я тем.самым предоставляю полную свободу эвфонистам; захотят они — они будут считать при пользовании моей работой этот звук за гласный, захотят — за согласный.

Еще бо́льшие неточности пришлось допустить в обозначении всех остальных гласных. Различаются только следующие гласные: *а*, *о*, *у*, *ы*, *ъ*, *и*, *э*^{и}, *э*. Таким образом гласный *ӓ*, признаваемый довольно часто в современной лингвистике в таких случаях как «пять», «вялить» и т. д. (между 2-мя мягкими) и гласные лабиализованные среднего и переднего рядов (в таких случаях, как «тётя», «гуляю» и т. д.) игнорируются (первый приравнивается к *а*, вторые к *о* и *у*). Вызвано это, главным образом, недостаточной разработанностью вопроса в литературе. Мне казалось непоследовательным резко выделять случаи нахождения задних гласных между 2-мя мягкими, как особые и притом совершенно передние звуки, и совсем не отмечать тех отличий, какие создаются в них одной только предшествующей мягкостью («тётка», «пятый»). На самом деле, конечно, в обоих случаях происходит продвижение заднего гласного вперед, но степень продвижения пока еще совершенно не определена. Я очень сомневаюсь, чтобы даже в таком общепризнанном случае как «пять» и «вялить» здесь звучал тот самый звук, что в английском man, that и т. д. Что же касается лабиализованных звуков незадних рядов, то их квалификация и условия появления еще настолько не выяснены, что включение их наполнило бы работу субъективностью. Кроме того, большую роль сыграло и то соображение, что *чем торжественнее и отчетливее речь*, тем это продвижение вперед *меньше*, и наоборот,

чем «разговорнее» так сказать, тем больше. А так как я кладу в основу речь эстрадную, то ошибка выйдет меньше, чем при обычной транскрипции. По этому же плану и гласный ъ не обозначается мной как ь, в таких случаях как «пол*е*», «добро*е*» и т. д. Продвижение вперед здесь такое же и настолько же мало определенное, как в «тетка» и «тетя». Однако, так как продвижение гласного вперед имеет несомненное эвфоническое значение в смысле уменьшения звучности с одной стороны и повышения тембра с другой, то я пытаюсь ослабить последствия такого упрощения специальным подсчетом мягких согласных по их умягчительному влиянию на соседние гласные (см. таблицу IV).

Гласные напряженные и ненапряженные тоже не различаются (в том числе, ради последовательности и *э* напряженное и ненапряженное, как в «мель» — «мел», хотя это различение, конечно, не представляло бы уже никакого труда). Думается, что различение ударных и безударных гласных с одной стороны и только что упомянутое различение действенной мягкости согласных с другой в значительной мере покрывает и эту ошибку.

Едва ли не самым трудным вопросом транскрипции был вопрос об обозначении долгих согласных (дли*нн*ый, ма*сс*а и т. д.). Лингвистически это несомненно отдельные звуки, отличающиеся только своей длительностью. Но эвфонически они никак не могут быть приравнены при подсчете к обычным, кратким, согласным. Ясно, что *звуковое наполнение* текста в случаях как: «донна» и «Дона» или «высший» и «выше» не одно и то же: в первом случае *увеличена* сонорность, во втором шумность. И если бы даже высчитывать эти звуки как одиночные, но с каким-то особым привеском, то потом, при количественном сравнении отдельных разрядов данного текста или отдельных текстов между собой, все равно пришлось бы как-нибудь количественно определить этот привесок. Чтобы не осложнять этих последующих расчетов, я в конце концов решился определить их количественно при самом подсчете и, за неимением другого выхода, посчитал каждый долгий согласный за *два* звука. Впрочем, это было необходимо уже и по одному тому, что отдельно подсчитывались твердые и мягкие согласные, а ведь долгие согласные часто бывают как раз в одной половине своей твердыми, а в другой мягкими (сравн. при слиянии слов: «у на*с* *с*идели», «гу*сь* *с*ошел», в 1-м случае 1-я половина тверда, а 2-я мягка, во 2-м наоборот). Посчитать такой долгий согласный за один значило бы окончательно запутать подсчет мягких и твердых, вводя разряды «твердо-мягких» и «мягко-твердых». То же и по всем тем же причинам пришлось проделать и со всеми долгими взрывными («оттащить» и т. д.), хотя здесь-то уже одиночность звука бьет в уши. Но так как продление времени затвора вызывает здесь усиленную не менее чем вдвое артикуляцию взрыва и соответственно усиленный звук, то с эвфонической стороны такая схематизация представляется оправданной.

Замечу, кстати, что такое же удвоение проведено и при слиянии конечных *т* и *д* с начальными *ч* и *ц* («вoч *человек*», гоц *целый*»), где произношение *т* при отсутствии паузы мне казалось даже для эстрады невозможным. Само собой разумеется, что это не 2 *ч* и не 2 *ц*, а только *ч* и *ц* «долгие» в условном смысле этого термина [1]).

Однако, полное игнорирование долгих согласных, как отдельных фонем, с лингвистической точки зрения все-таки не могло быть терпимо. Ведь наличность таких согласных представляет важную характерную черту русского языка (сравн., например, полное отсутствие таких согласных во французском). Поэтому на-ряду с подсчетом таких звуков в раздробленном надвое виде они подсчитаны и как единицы (см. таблицу V, согласные краткие и долгие), при чем пришлось, конечно, процентное отношение определять в общем порядке, для 10.000 звуков (хотя если эти согласные считать за единицы, то подсчитано не 10.000, а 9.862).

Подобное же противоречие лингвистического и эвфонического подхода приходится отметить и в рубрикации *й* неслогового. Хотя и физиологически и акустически это самый обычный гласный (если отвлечься от случаев приближения его к йоту), но в смысле *ритмического и звукового заполнения* он, благодаря своей неслоговости, вполне приравнивается к согласным. Поэтому вполне прав будет, думается, тот эвфонист, который при пользовании настоящим трудом переделает таблицу V в том направлении, что в п. I, 1 прибавит *й* к согласным, в п.п. III, 2 и 3 прибавит его к сонорным согласным (хотя *j* — шумный) и в п. III, 4 — к мягким согласным. Кое в чем и мне уже пришлось так поступить: в разрядах гласных *й* не принято во внимание, а в делении согласных на долгие и краткие посчитан и один встретившийся случай долгого *й* (какой йэ̆во).

Относительно подсчитанных в таблице V разрядов звуков нужно сказать, что они расчитаны, главным образом, на сравнение звукового материала разговорной речи с материалом поэтической по признаку бóльшей или меньшей *тональной насыщенности*. Известно, что звуки речи в этом отношении делятся на 4 основные разряда (гласные, сонорные согласные, звонкие шумные и глухие шумные). Так как наиболее интересным представляется мне вопрос, различаются ли хоть сколько-нибудь в пропорциях этих четырех групп разные виды литературной речи друг от друга и от разговорной речи, то подсчету этих групп

---

[1]) Нужно еще отметить, что при раздельно-ритмическом произношении таких сочетаний, т.-е. при полном *равенстве* ударений в обоих словах усиление *ч* и *ц* может быть ничтожно, и дело сводится в сущности к обычным *ч* и *ц* с предшествующим *немым т*, т.-е. с паузой затвора на их месте. Но транскрибировать и вводить в подсчет подобное пустое место было уже совершенно невозможно.

было уделено особое внимание. Замечу кстати, что студенческие подсчеты литературных текстов, представленные мне в большом количестве в качестве семинарских работ за последние два года, определенно намечают преобладание сонорных согласных в художественной речи. С другой стороны, чисто морфологическое отличие одних видов литературной речи от других (например, преобладание причастий на *щий* и *вший* в прозаической речи и почти полное отсутствие их в стихотворной) тоже делает априорно-вероятными различия в этом пункте. Но должен сознаться, что общая количественная оценка степени голосовости, или тональной насыщенности, данного текста, являющаяся как раз наиболее интересной, представляется мне делом почти недостижимо-трудным. Ведь при явном преобладании, например, сонорных согласных над шумными, глухие шумные в то же время могут сверх нормы преобладать над звонкими шумными или, например, согласные над гласными или безударные гласные над ударными. Хотелось бы создать тут какой-нибудь коэффициент «звучности», но вряд ли это возможно.

Разумеется, кроме выведенных в таблице V, разрядов из основных таблиц (I и II) могут быть выведены и некоторые другие.

Перехожу к краткому описанию и объяснению отдельных таблиц.

Таблица I дает общий список звуков в порядке убывающей частости. В отличие от последующих таблиц здесь даны числа не только для всех 10.000, но и отдельно по тысячам. Сделано это с тем расчетом, что при исследовании отдельного литературного произведения может оказаться нужда не только в средних числах, но и в возможных максимумах и минимумах. Интересно было бы, например, отметить преобладание в том или ином тексте того или иного звука не только против средней нормы, но и против максимума. Кроме того, я хотел познакомить читателя с размерами колебаний по отдельным тысячам, чтобы дать ему представление об устойчивости изучаемых величин. Мы видим, что колебания сравнительно невелики, и что они, что важнее всего, в тысячах *гораздо меньше, чем в сотнях*. Так, например, звук *а* колеблется по сотням одной из подсчитанных тысяч так: 14, 10, 8, 10, 10, 12, 13, 10, 13, 11. Отношение между наибольшим и наименьшим числом $= \frac{14}{8} = 1,75$. Тогда как в тысячах то же отношение, как показывает таблица $= \frac{119}{98} = 1,21$ (с точностью до $\frac{1}{100}$). Звук ъ колеблется по сотням так: 7, 7, 6, 8, 10, 7, 10, 4, 5, 10. Отношение наибольшего числа к наименьшему $= \frac{10}{4} = 2,5$. Для тысяч то же отношение $= \frac{109}{71} = 1,53$. И так далее. Отсюда вполне законно предполо-

жение, что при продолжении подсчета колебания между отдельными десятками тысяч были бы уже совсем незначительны, т.-е. что наши конечные величины довольно точны.

Переходя к сравнению отдельных звуков речи по частости, мы прежде всего констатируем, что они распределены в нашем языке далеко не равномерно. Так, например, звук *а* встречается приблизительно в 2 раза чаще, чем *и*, в три раза чаще чем *в*, в 4 раза чаще чем *м*, в 5 раз чаще чем *ы*, в 10 раз чаще чем *х*, в 12 раз чаще чем *ж* и в 269 раз чаще чем γ. Далее, находим, что числа частости употребления образуют постепенно убывающий ряд, в котором каждое число лишь ничтожно разнится от предыдущего и от последующего. Резких скачков вообще не наблюдается, за исключением перехода от предпоследнего звука (*ж*) к последнему (γ). Здесь получается огромный скачок: звук этот в 22 раза реже своего предыдущего, тогда как все остальные менее чем в $1^1/_2$ раза реже своих предыдущих. Процент не попавших в таблицу $\widehat{дз}$ и $\widehat{дж}$ нам неизвестен, но уже одно их отсутствие вместе с вышеупомянутым скачком уполномочивает нас разделить все звуки речи по частости на 2 разряда: на более или менее обычные и *необычные* (γ, $\widehat{дз}$ и $\widehat{дж}$). Причина необычности этих трех звуков понятна: они употребляются *только в конце слов в связной речи* (γ кроме того в 5—6 случаях и внутри слов). Поэтому наиболее правильно будет исключить из сравнения γ и объединить все остальные 28 звуков таблицы в один ряд, заканчивающийся звуком *ж*. Отношение между членами этого ряда даёт таблица II. Из нее мы видим, что постепенность убывания членов ряда сравнительно более нарушается только в двух местах: при переходе от *з* к *х* (первый из них почти в $1^1/_2$ раза чаще второго) и в самом начале таблицы при переходе от *а* к *ъ* (1-й в 1,3 раза чаще 2-го). 1-й из этих скачков может дать основание к выделению звуков, начиная с *х* (*х, ц, г, ф, ж*) в подгруппу более редких. 2-й скачок показывает, что наш язык является в высшей степени акающим: *а* не только чаще всех остальных звуков, не только чаще многих из них вместе взятых (так, например, *б, ч, з, х, ц, г, ф, ж,* вместе взятые, реже *а*), но и чаще следующего за ними звука (*ъ*) настолько, что первенство осталось бы за ним несомненно и при *всех* дальнейших подсчетах. Этого нельзя сказать, конечно, про таких соседей ряда, которые лишь ничтожно отличаются друг от друга. Мы не можем, например, быть уверенными, что *л* сохранит свое 11-е место, а *р* свое 12-е при всех дальнейших подсчетах. Преобладание 1-го над 2-м так ничтожно (отношение = 1,02), что как ни малы должны быть отклонения от наших чисел при переходе к следующему десятку тысяч, они могут заставить эти звуки поменяться местами; или такое *почти* равенство может превратиться в полное равенство, какое имеет, например, место и в нашем десятке тысяч для *х*, и *ц*, (отношение = 1).

Более надежную иерархию звуков даёт в этом отношении таблица III, так как здесь гласные и согласные сгруппированы отдельно. Здесь уже мы можем быть вполне уверены, что не только *а* сохранит за собой всегда первое место, но и ъ между *гласными* всегда будет 2-м, *и* — всегда 3-м, $э^{и}$ всегда 4-м. Дальше идут 2 гласных, которые и здесь так близки друг к другу, что их можно рассматривать как равные (*у* и *о*). И, наконец, предпоследним всегда будет *э*, последним *ы*. Звук этот для *гласных* вообще очень редок: в общей таблице он занимает 20-е место, тогда как предшествующий ему гласный *э* — 14-е, *о* и *у* — 10-е и 9-е, $э^{и}$ — 6-е *и* — 5-е. Для гласных не мешает еще заметить, что при «йкающем» произношении (фактически сейчас гораздо более распространенном, чем произношение на $э^{и}$) картина сильно меняется; *а*, правда, остается попрежнему и столь же решительно на 1-м месте, но 2-м по частости будет тогда уже *и* (9,99%), 3-м — ъ (8,28%), после которого наступает *резкий* скачок (из-за выпадения $э^{и}$ и разрастания *и*): *у* — 3,92%, и далее уже интервалы не велики. Таким образом при йкающем произношении таблица гласных совершенно меняет свой характер: вместо постепенного ряда образуются две резко различных группы гласных. На одной стороне очень частые *а*, *и*, ъ, а на другой стороне редкие *у*, *о*, *э*, *ы*. Такой вокализм может быть уже охарактеризован не только как акающий, но и как йкающий и ъкающий. Среди согласных, при сгруппировании их в отдельную таблицу, преобладание некоторых звуков над соседними тоже приобретает резко выраженный характер: *т* решительно занимает 1-е место, *н* — 2-е, *с* — 3-е. Эти 3 звука могут образовать даже группу особенно частых согласных (как *а*, *и*, ъ особенно частых гласных при йкании), так как после них имеется порядочный скачок, а дальше (начиная с *л*) идет весьма постепенное убывание (кроме скачка перед *х*, о котором смотри выше). Эта же таблица заключает в себе данные о безударности и ударности гласных и о твердости и мягкости согласных. Относительно первых надо прежде всего заметить, что преобладание безударности над ударностью оказалось меньше, чем можно было бы подумать a priori (26,70% безударных и 15,65% ударных). Это объясняется, конечно, с одной стороны, обилием односложных слов в разговорной речи, из которых многие очень часто имеют ударения (например, часто повторяющиеся вопросительные «кто» и «что», далее: «вот», «ну», «пусть», «эх», «ах», «а» и др.), а с другой стороны, отсутствием в житейском языке длинных многосложных слов, как причастия, отглагольные существительные и др. Надо думать, что в этом пункте разница между разными видами литературной речи будет огромная; так, например, преобладание многосложных слов в научном языке сделает преобладание безударности над ударностью, несомненно,

гораздо более резко выраженным. Поскольку многие безударные гласные отличаются полуглухостью, постольку такой вокализм будет менее музыкален, чем вокализм разговорной речи. С другой стороны, в стихотворной речи соотношение это будет зависеть от того или иного размера, и в трехдольных стихах, например, безударных, будет ровно (или почти ровно) вдвое больше чем ударных. Относительно безударности и ударности отдельных гласных следует заметить, что безударность и в отдельных гласных преобладает над ударностью (кроме *о* и *э*, о которых см. ниже); но степень преобладания для различных гласных различна. Для *а* безударность и ударность почти равны, тогда как для *и*, *у* и *ы* безударность приблизительно вдвое чаще ударности; звуки *ъ* и $э^{и}$, само собой разумеется, всегда безударны (случай с союзом «штъ» под ударением не встретился ни разу), а звуки *о* и *э* почти всегда ударны. Однако, частое употребление прислонок «он», «этот» и некоторых других, сохраняющих и при безударности свои *о* и *э*, дало всё же некоторое количество безударности и для этих звуков (0,29% и 0,20%). Переходим к твердости и мягкости согласных. Мягкость согласных, как известно, является резкой характеристической чертой балто-славянских языков и среди них прежде всего русского. Поэтому небезынтересно будет отметить, что и в русском языке мягкие согласные все-таки более, чем вдвое реже, чем твердые (16,47% мягких и 37,06% твердых). При этом для отдельных согласных это соотношение складывается очень различно. В то время, как, например, мягкое *х* более, чем в 50 раз реже твердого, а мягкое *г* более чем в 12 раз реже твердого, мягкое *л* всего в 1,16 раза реже твердого, т. е. в сущности почти равно по частости твердому. Соответственно и убывающая последовательность для мягких согласных совсем не та, что для твердых. Здесь получается следующий ряд: *н, т, л, ч, с, р, д, в, ш, м, п, б, к, з, ф, г, ж, х*. Мы видим, что одни согласные, по сравнению с основной последовательностью продвинулись вперед, другие назад, третьи остались на том же месте. К первым принадлежат: *н, л, ч, д, ш, г, ф, ж*. Ко вторым: *т, с, р, в, п, к, г, х*. На месте остались: *м, б, з*. Продвижение вперед *н* и *л* объясняется, конечно, историческими причинами: сохранением всех йотовых смягчений (правда, они сохранились и для *р*, но для него они уже и в пра-славянском языке были сравнительно редки), а для *л* кроме того и элевым смягчением губных. Соответственно $л^{ь}$ и является вообще из всех мягких наименее уступающим своему твердому противню по численности и в *отдельных* тысячах оно нередко даже превышало *л* твердое (один раз то же было и с *н*). Продвижение вперед *ч* объясняется тем, что вся эта цифра падает здесь на мягкость. Продвижение вперед *ш*—сравнительной частостью *щ* $(ш^{ь}\ ш^{ь})$.

Редкость мягких *г, к, х* объясняется, конечно, тем, что они бывают мягки только перед 2-мя гласными, *и* и *э*, а остальные согласные перед всеми. Наконец выпишем тот же ряд в порядке возрастающей разницы между твердостью и мягкостью (цифра в скобках показывает, во сколько раз первая чаще второй): *л* (1,16), *д* (1,17), *р* (1,53), *н* (1,72), *ш* (1,93), *с* (1,98), *б* (2,26), *т* (2,76), *в* (3,06), *з* (3,11), *м* (3,25), *п* (4,45), *к* (7,58), *ф* (9,33), *г* (12,71), *ж* (28,33), *х* (50,5). Относительно последних 4-х надо еще добавить, что цифры их мягкости ненадежны, так как слишком малы. Мы можем приравнять эти 4 звука в их мягкой разновидности к звукам γ, $\widehat{дз}$ и $\widehat{дж}$ и повторить о них то же, что говорилось выше об этих 3-х звуках. В самом деле $х^ь$ встретилось в 10 тысячах звуков всего 2 раза, $ж^ь$ — 3 раза, $г^ь$ — 7 раз, $ф^ь$ — 9 раз, тогда как следующий в ряду звук — $з^ь$ — уже 37 раз.

В таблице IV ограничусь только указанием на то, что 4-й столбец не является простой суммой предыдущих трех столбцов, а подсчитывает общую сумму *воздействий* мягких согласных на гласные, почему цифры 3-го столбца и вошли в эту сумму в *удвоенном* виде.

Таблица V показывает соотношения главнейших разрядов звуков. Из нее мы видим, что согласные чаще, чем гласные (если прибавить к согласным *й*, то почти в 1$^1/_2$ раза), длительные (куда входят и гласные и фрикативные согласные) чаще, чем мгновенные (немного больше, чем в 3$^1/_2$ раза), сонорные (куда входят и гласные и сонорные согласные) чаще, чем шумные (почти в 2 раза), голосовые чаще, чем безголосные (почти в 3 раза) и ротовые чаще, чем носовые (почти в 11 раз). Среди гласных безударные, как уже упоминалось, чаще ударных; по месту горизонтального продвижения языка задние преобладают над передними, а передние над средними; по степени подъема средние над верхними, верхние над нижними и нижние над средне-верхними ($э^и$); наконец нелабиализованные резко преобладают над лабиализованными (почти в 5 раз). Среди согласных фрикативные преобладают над взрывными (почти в 2 раза), шумные над сонорными (тоже почти в 2 раза), твердые над мягкими (см. выше), долгие над краткими (приблизительно в 40 раз), простые над слитными (приблизительно в 20 раз); из 3-х разрядов по отношению к голосу шумные глухие преобладают над сонорными, а сонорные над звонкими глухими; из 4-х разрядов по месту образования на 1-м месте стоят нёбно-зубные, затем идут губные, затем задне-нёбные и, наконец, средне-нёбные.

Огромное большинство этих соотношений в своем основном направлении, конечно, свойственно всем языкам человеческим. Так, во всех языках, надо полагать, согласные чаще гласных (или, по крайней мере, неслоговые звуки чаще слоговых), безударные гласные чаще ударных, голосовые звуки чаще безголосных (так как иначе речь не была бы слышна на обычном расстоянии); ротовые чаще носовых, краткие — долгих, твердые — мягких и т. д. Однако, в самых пропорциях преобладания одних категорий над другими могут оказываться большие различия как между отдельными языками, так и для литературных языков, между отдельными литературными жанрами. Приведу для примера свой подсчет *глухих* согласных в первой тысяче звуков «Евгения Онегина», «Фауста» и «Божественной Комедии». В «Божественной Комедии» их оказалось в круглых цифрах 18%, в «Евгении Онегине» 20% и в «Фаусте» — 24 %. Мы видим, что с одной стороны речь «Евгения Онегина» резко отличается от русской разговорно-литературной речи (25,5%), так как разговорная речь «шумнее», а «Онегин» «звучнее» в этом пункте на 5,5%, с другой стороны, итальянский и немецкий языки от русского (итальянский «звучнее» на 2%, немецкий «шумнее» на 4%). Аналогичные подсчеты для разных языков и разных литературных жанров представили бы большой интерес.

Приложение 1.

Таблица 1.

	1-я тыс.	2-я тыс.	3-я тыс.	4-я тыс.	5-я тыс.	6-я тыс.	7-я тыс.	8-я тыс.	9-я тыс.	10-я тыс.	10.000.
а . . .	9,8	11,3	10,3	10,9	10,9	11,2	11,9	10,8	11,0	9,8	10,79
ъ . . .	8,3	9,0	7,5	10,9	7,6	7,1	8,4	8,1	7,2	8,7	8,28
т . . .	6,9	8,2	7,6	6,3	8,8	6,6	7,1	8,0	8,8	7,6	7,59
н . . .	6,2	5,4	6,2	6,7	7,2	5,9	6,6	6,1	6,2	5,2	6,17
и . . .	6,2	5,7	6,3	5,3	4,7	5,6	4,5	5,4	4,7	4,8	5,32
э^{и} . .	4,0	4,5	5,3	4,1	5,3	4,0	4,2	4,2	5,7	5,4	4,67
с . . .	4,4	4,4	4,4	4,6	4,8	5,2	4,0	4,6	5,3	3,9	4,56
й . . .	4,2	4,4	3,8	4,2	2,8	5,9	3,8	3,8	3,9	4,4	4,12
у . . .	4,1	4,6	3,1	2,7	3,9	4,8	5,2	3,5	3,7	3,6	3,92
о . . .	3,6	3,0	4,0	4,7	3,2	4,2	2,7	4,4	3,9	4,8	3,85
л . . .	3,4	3,1	3,5	4,2	2,8	4,3	4,7	4,5	3,8	3,2	3,75
р . . .	3,5	3,6	3,9	3,7	3,8	3,9	4,5	2,8	3,7	3,6	3,70
в . . .	2,9	3,5	2,7	4,0	4,4	3,2	4,0	3,2	3,4	4,8	3,61
э . . .	3,1	3,3	3,4	1,9	3,9	3,6	3,5	3,7	3,9	4,0	3,43
к . . .	3,9	3,7	3,2	3,7	3,0	2,5	2,9	3,9	2,7	3,1	3,26
д . . .	2,5	2,4	3,3	3,4	2,4	3,4	2,4	3,2	2,8	3,7	2,95
п . . .	2,1	2,7	3,0	3,8	2,1	2,6	3,7	2,6	3,3	3,0	2,89
м . . .	3,5	2,5	3,9	2,0	2,7	2,4	3,0	2,5	2,5	2,2	2,72
ш . . .	1,7	3,4	2,7	2,4	3,0	2,5	2,1	2,0	2,8	2,6	2,52
ы . . .	2,9	1,5	3,1	1,7	2,3	2,1	2,0	1,7	1,3	2,3	2,09
б . . .	2,5	2,1	1,5	1,4	2,4	1,6	1,6	1,8	1,1	1,3	1,73
ч . . .	2,5	1,5	1,3	1,6	1,9	1,4	0,8	1,7	2,0	2,2	1,69
з . . .	1,9	1,1	0,6	1,9	1,8	1,7	1,8	2,0	1,2	1,2	1,52
х . . .	1,1	0,7	1,5	1,2	0,8	0,6	1,0	1,1	1,1	1,2	1,03
ц . . .	0,9	1,5	0,7	0,8	0,7	1,4	1,3	1,0	1,6	0,4	1,03
г . . .	0,7	1,5	1,4	0,6	0,8	0,5	1,0	0,9	1,0	1,2	0,96
ф . . .	1,5	0,6	1,0	1,0	1,0	0,9	1,0	1,1	0,8	0,3	0,93
ж . . .	1,7	0,8	0,8	0,3	0,8	0,7	0,3	1,3	0,6	1,5	0,88
γ . . .	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,04
Итого .	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	1000,0

Таблица II.

а	чаще,	чем *ъ*	в	1,3	раза.
ъ	»	» *т*	»	1,09	»
т	»	» *н*	»	1,23	»
н	»	» *и*	»	1,16	»
и	»	» *эи*	»	1,14	»
эи	»	» *с*	»	1,02	»
с	»	» *й*	»	1,11	»
й	»	» *у*	»	1,05	»
у	»	» *о*	»	1,02	»
о	»	» *л*	»	1,03	»
л	»	» *р*	»	1,02	»
р	»	» *в*	»	1,02	»
в	»	» *э*	»	1,05	»
э	»	» *к*	»	1,05	»
к	»	» *д*	»	1,11	»
д	»	» *п*	»	1,02	»
п	»	» *м*	»	1,06	»
м	»	» *ш*	»	1,08	»
ш	»	» *ы*	»	1,21	»
ы	»	» *б*	»	1,15	»
б	»	» *ч*	»	1,02	»
ч	»	» *з*	»	1,11	»
з	»	» *х*	»	1,47	»
х	»	» *ц*	»	1	»
ц	»	» *г*	»	1,07	»
г	»	» *ф*	»	1,03	»
ф	»	» *ж*	»	1,06	»

Таблица III.

Гласные.

		Ударн.	Без-ударн.	Всего.
Слоговые.	а	5,19	5,60	10,79
	ъ		8,28	8,28
	и	1,53	3,79	5,32
	эи		4,67	4,67
	у	1,41	2,51	3,92
	о	3,56	0,29	3,85
	э	3,23	0,20	3,43
	ы	0,73	1,36	2,09
	Итого . .	15,65	26,70	42,35
Неслоговые.	й	—	—	4,12
	Итого . .	15,65	26,70	46,47

Согласные.

	Тверд.	Мягк.	Всего.
т	5,57	2,02	7,59
н	3,90	2,27	6,17
с	3,03	1,53	4,56
л	2,02	1,73	3,75
р	2,24	1,46	3,70
в	2,72	0,89	3,61
к	2,88	0,38	3,26
д	1,59	1,36	2,95
п	2,36	0,53	2,89
м	2,08	0,64	2,72
ш	1,66	0,86	2,52
б	1,20	0,53	1,73
ч	—	1,69	1,69
з	1,15	0,37	1,52
х	1,01	0,02	1,03
ц	1,03	—	1,03
г	0,89	0,07	0,96
ф	0,84	0,09	0,93
ж	0,85	0,03	0,88
γ	0,04	—	0,04
Итого . .	37,06	16,47	53,53

Таблица IV.

Умягчительное воздействие мягких неслоговых звуков на соседние гласные.

	На посл.	На предыд.	На оба.	Всего.
ть	0,42	0,69	0,40	1,91
нь	0,67	0,75	0,51	2,44
сь	0,41	0,66	0,24	1,55
ль	0,32	0,74	0,21	1,48
рь	0,30	0,46	0,35	1,46
вь	0,27	0,13	0,26	0,92
кь	0,03	0,15	0,01	0,20
дь	0,46	0,35	0,44	1,69
пь	0,13	0,16	0,13	0,55
мь	0,16	0,17	0,25	0,83
шь	0,31	0,29	—	0,60
бь	0,10	0,05	0,30	0,75
чь	0,48	0,54	0,55	2,12
зь	0,04	0.14	0,05	0,28
хь	0,01	—	—	0,01
гь	0,02	0,02	—	0,04
фь	0,01	0,05	0,03	0,12
жь	0,01	0,01	—	0,02
й	1,03	0,91	1,94	5,82
Итого . .	5,18	6,27	5,67	22,79

Таблица V.

I. Количественные соотношения отдельных разрядов звуков между собой.

1) Гласные, согласные и *й* . . . . 42,35 : 53,53 : 4,12
2) Длительные и мгновенные (взрывные) . . . 77,90 : 22,10
3) Сонорные, включая *й*, и шумные . . . . . . 62,81 : 37,19
4) Голосовые и безголосные . . . . 74,50 : 25,50
5) Ротовые и носовые (*н* и *м*) . . . . 91,11 : 8,89

II. Отдельные разряды гласных (слоговых).

1) Ударные и безударные . . . . 15,65 : 26,70
2) Заднего, среднего и переднего рядов . . . . 18,56 : 10,37 : 13,42
3) Нижнего, среднего (*ы* и *ъ*), средне-верхнего (*э*^{н}) и верхнего подъема . . . . 10,79 : 15,56 : 4,67 : 11,33
4) Лабиализованные и нелабиализованные . . 7,77 : 34,58

III Отдельные разряды согласных.

1) Фрикативные и взрывные . . . . 31,43 : 22,10
2) Сонорные и шумные . . . . 16,34 : 37,19
3) Сонорные, звонкие шумные и глухие шумные 16,34 : 11,69 : 25,50
4) Твердые и мягкие (без *й*) . . . . 37,06 : 16,47
5) Долгие, включая долгое *й*, и краткие . . . . 1,38 (2,76) : 50,77
6) Простые и слитные (*ц* и *ч*) . . . . 50,81 : 2,72
7) Задненёбные, средненёбные (*к, г, х* перед *э* и *и*), нёбнозубные и губные . . . . . . 4,82 : 0,47 : 36,36 : 11,88

ПРИЛОЖЕНИЕ II (текст) [1].

1-я тысяча.

Можно обойтись без бывших офицеров. Потом будут забраны для прохождения действительной, что ли, службы. Элемент такой, на которого нельзя положиться. Высший состав армии. А как Брусилов в Москве, какое значение имеет? Он имеет право совещательного голоса. А вы в какой части войска служили? Ох, если не будет, мы тебе взбучку на пасхе дадим. Мы на пасху чаю ведро поганое возьмем на станции. Эх, морока одна, больше ничего. В особенности вот в чайной. Чуть ли не на каждой улице чайная. Заходишь в чайную как юмористическую газету читаешь. К нам приехали семьдесят германцев рабочих. Завтра я буду в военном комиссариате. Уже записался на учет. А я ж должен быть на учете, как военнообязанный. Ну так вас отпустили, как сосуна. Женитесь, товарищ Золин, так легче будет. Сначала нас вызвали в декабре. Потом частичная демобилизация. Там, например, чтобы получать табак по карточке... Что подписью и приложением печати удостоверяется. Рабочим фунт хлеба в день. Один фунт на три дня. По сравнению с столовыми учреждениями там завтрака и ужина нет. Так что там жить можно? Я там некоторое время служил, за семьсот рублей. Четыре щетки, что ли. Когда все сотрудники получают щетки! А потом там рынки были все закрыты. Ну, и какие разгово(ры там бывают?)

2-я тысяча.

(Ну, и какие разгово)ры там бывают? А спроси, какой его дурак женил. Вот, на тебе на обед. Пойдешь, пару ботинок получишь и обед. Товарищи, курить запрещается! Так нет еще чаю? В девять часов закипит. Это вас не касается. Не боится

---

[1]) Напоминаем (см. стр. 170), что нижеследующий текст представляет собой дословную запись обыденной разговорной речи русского интеллигента и полуинтеллигента, сделанную автором в самый момент разговора в разное время (1920 г., 1923 г., 1924 г.) и в разных местах (Харьков, вагон жел. дороги, Москва).

Ред.

ногу отрубит, а? Понимаешь ты, хотел кисет вынуть из кармана, и опасно! У тебя табаку же ведь нету! Товарищ, уйдите отсюда сейчас же! Я, брат, уже ночи три не сплю. А может и раньше отпустят. Какие года сейчас отпускают? Я ж тоже у Врангеля был. Потому что у нас дома замка нет. Дайте мне одну луковицу! Я сам из Минской губернии, но теперь из Екатеринослава. Хорошая цибуля! Особенно еще завтра учреждения не работают... Что это вас разобрало? У вас спички есть? Там я ходил чай пить... Тут почем лук? Раньше я брал три с половиной тыщи венок. Я сюда как приехал, так я этого хлеба наперся. Я на несколько минут, за своими делами... Тогда давайте, я только сейчас по телефону. До свиданья, Клава! Приятного аппетита! Так что ж она говорит? Это в котором году? В университетском здании. Где помещается историко-филологический факультет? Тут на углу есть вывесочка. Где-нибудь архив, конечно, есть. А учебный округ где помещается? Мне хочется что-нибудь такого... Я сегодня пошла за маслом подсолнечным... Говорят, семь с половиной сливочное масло... Вы еще (не уехали?)

3-я тысяча.

Жалко, он в университете не читает. Глеб, ты что будешь, чай или кофе? Что ты будешь? Самые худшие поезда в это время. А на поле как хорошо мы были! И вы даже заметили, что «вам этого не полагается». В следующем проходике... самом ближайшем к нам. Берет три-четыре собаки и ведет их. Я их ненавидела никогда. Я люблю раки без супу. Со вчера дорога попортилась. На больше времени. Интересно знать, что Южин, какого мнения сам о своих произведениях. Эгоист она большой. Говорит, что помрет, но на будущий год себе непременно автомобиль купит. К нему кто-то пришли. Прибыть-то одну минуту! Зачем выцветает? Дайте-ка мне матерью я тут оставил. Мне начинает хотеться есть. Я потом их пойду выхлопаю. Ты что, не выспался? Он идет смотреть свои рыбы. Там стреляют — кого? Молодые, так они темненькие, а старые, так они серые. Он хороший аккомпаниатор считается. Четыре человека выняньчила. Когда-то читал эти романы... масса... Это со вчера здесь? Все надо ткнуть! Вы думали, что правда съели все? Он горным инженером. Они ушли вместе с моей дочерью. Мне снилось, что снег. Один епископ его курский анафеме предал. Однако, голодно! Она не гладкая снаружи. Я ему скажу, что, если он хочет, чтоб подождал. Я под самый экипаж... всегда, когда дорога... Пирог все не хотел подходить. Он испо(ртился, этот гамак.)

4-я тысяча.

Он сначала упирался, потом убедил я его... Он потом был в президиуме исполкома. Комиссар докладывает, что надо вводить запрет. Я, значит, произношу речь. Говорит, что вопрос снимается, неуместный. Как только Буденый ушел... А талантливый парень Буденый, типа наполеоновских маршалов. Легко относился ко всяким вещам. И вот его сделали начэваком. Вообще, это интересная история. Он, значит, взял да выгнал. Потом спохватился, что это дело все-таки плохое. Он рабочий Донбасса. Мне кажется, что он кадровый. Буденый хорошо говорит? Положение обязывает, знаете. Я в таких случаях очень внимательно... стараюсь, так сказать, уловить нужду... стараюсь поймать... Двенадцать верст... полчаса езды. В этом роде. Что сад, перепахивался когда-нибудь? Парк-то перепахивался? Два раза я его перепахивал. Он очень запущен был. По нем пошла такая растительность, как на запущенных лугах. Подпор-то очень сильный, ну и, значит, вода идет по скату. Там ведь эта вся площадка усадебная, она вся насыпная, и очень высоко насыпная. Дивная вода. Родниковая, глубокий родник. Якунчиковские заводы... брата невского владельца... Какая интересная комбинация, не знаю, читали вы или нет, что за войну проделала Америка. Один сорт — и точка. Это упрощает страшно произво(дство.)

5-я тысяча.

...(произво)дство. Ведь тут их бесконечное количество сортов. Ну уж кому-кому, а рабочему работать на таких фабриках... Там просто обезьян разводить и приучать. Ничего человеческого не нужно. Там подходят баржи с торфом. Лебедки подходят, собираются в такие... пасти, что ли... Женщины ему рассказывают, что у них тут есть общественный врач. Накладывает себе, ест, уплачивает... Все, государственные, общественные, частные — все. Обстановка вся вместе, скотина вся вместе. Да, это верно. На заграничный транспорт хлеба я смотрю, понимаете ли, немножко иначе. Я в этом нисколько не сомневаюсь. Я рассуждаю совершенно беспристрастно. Я краха Советской России совершенно не представляю. Брожение будет до тех пор, пока будет существовать человечество. Что называть бедным и что называть богатым. В этом виноваты не мы, вероятно. Нет, наверно, мы. Раньше этого не было. С газетами отстали. Нет, еще один мелюзга летит вон там. Э, не догнали, вон туда полетела газета! Нет, мне лучше конфетку. Уж так и быть, я дипломную работу

по путешествию напишу, насчет газет. Какое безобразие! Что она мешает? Разве тучи? Перистые облака, не дождевые. Наказать тебя за это? За что? Трешь и трешь! Мельницы видала? Толчеи. Чтоб он отделился от волокон. Ну, а как же волокна-то, не разме(льчат?)

6-я тысяча.

(. . . не разме)льчат? Слушай, а где у нас ножик, а? Ты вчерашний день искал, наверно. Пусть валяется! Ой, я уже предчувствую! Здесь, слушай, смотри, здесь песчаник. Слава богу как открывать я не знаю! Что они, заразились что ли все? Это нужно весьма сильное крушение. Которые люди учились, может хотели что-нибудь создать, их совсем не нужно. А было время их расстреливали. Что ж я с ней буду . . . няньчиться? Я вытираю, а он опять на мокрое кладет. Я его так и делаю. Для предосторожности заверни ее! Так и оставь ее! Удостоверенье личности где у нас? Ты взял! Ты сбирай, сбирай, свои дела делай! А кому ты говоришь? Слушай, Ян, а ты нож туда убрал? Только по полу не валяй! Давай, подержу! Когда вы приедете, чтоб вы написали письмо обязательно. Я вам завидую, что вы едете.. Ой, я б хотела ехать! Митя пусть напишет, идем! Ой, папа, папа, идите сюда! Поклон передавайте, большой-большой, всем-всем! Я понимаю, но я ж не имею права, Володя! Какой следующий номер? Она устала и не спала целую ночь. Так что глас народа — это есть всё. Здесь я наблюдаю такую историю: рабочий работает восемнадцать и двадцать часов. Мельница останавливается, начинают ремонтировать эту мельницу. У нас семьдесят пять процентов рабочих, которые совершенно не знакомы так сказать с рабочими законами. В среде нашего през(идиума . . .).

7-я тысяча.

Послушайте, что это за ерунда. Толстой, оказывается, совсем плохо пишет! Кладут на эту мокрую простыню. Во время кризиса, так я почувствовал, что правая рука мне начала болеть. Я говорю, вы знаете, найдите мне кофе стакан. Принесли мне целую булку белую. И с тех пор, вообще, такой порядок. Особенно люблю я этот борщ: щавелевый. Не хватит двенадцати золотников. Мне полагалось полтора фунта хлеба. Там неправильные весы. Там обвешивают, на базаре. Вот мы керосин, например, помню. Не возьму я этот хлеб. Тут не полтора фунта. А тогда записывали отстающих. Получите за март месяц коробку спичек и фунт сахару. Я говорю вот про них лично. А мне нужно было на собрание спешить. Думаю, сегодня

Золин, наверно, никуда не спешит. А! было время на военной службе! А ведь они варят по наитию. Только ты все-таки даёшь: оставлять нельзя. В девятнадцатом году вино было. Так я его не уважал в первый раз. Что это вы начертили? Они наматываются спиралью. Вот теперь он сгорел, этот самый аппарат. Опять обводи другим карандашом. Я себе сделал, знаешь, какие. Лень наперед родилась. Как всегда полагается, знаешь? Разомни помельче, я сейчас сахару достану. Ну, сидят, в карты играют там. Посидели (чаю напились...)

8-я тысяча.

Я удивляюсь: вы вот человек взрослый, проживший много... Попов, а что ж там дают в воскресниках? Вот в баню сходить, это да! Пойдем, старина, завтра. Лучше нету, как дома в печку влезешь... Я поставил тебе соль, Золин! Какая у вас каша? Значит, у меня карточка есть только на один обед. Я об этом не знал, что мне поставили звоночек. Это только легче становится, как на живот ляжешь. Значит, придется доехать этим поездом до Никитовки? А из Никитовки до Зверева верст семьдесят будет? Ну, это хорошая шапочка! Я сказал сейчас же, но они меня сбили с панталыку. Ему стыдно было не дать папирос и сахару. А вот подите узнайте, так он получил хлеб. В Сибири, где-то он служил... Да, он был на фронте, понимаете ли... Что же вы спрятались так? Дайте, я хочу вас видеть... Даже стал есть, тогда можно заняться как следует... Вот великолепно! Ну, это, конечно, не стоит. Вот сейчас это и будем делать. Материал огромный. Это к кому относится? Тут ошибка произошла. Как раз когда у них было тайное совещание. Слушайте, не давайте ему прикурить! Сто рублей берешь за табачницу? Кому на поезд ехать? Триста рублей денег всего капитала. Тебе есть что загнать. Скажите, пожалуйста, зачем он кольцо носит? Мне фуфайку надо загонять. Нарочно прислушивался, обратил внимание. Там же лихачи мобилизованы. Я не езд(ил на извозчиках...)

9-я тысяча.

Что-то спать хочется все-таки. Сейчас приедем. Свалка не мешает? Никаких свалок нет. Палатки стоят рядом. Они начинают с утра летать. У нас есть такой очень забавный маленький мальчик во дворе. Собственно говоря, не так давно еще это считалось равноценным смертности... Чем его стукнуло, куском мачты или пропеллером? А потом, вижу, падает. Хорошо, что он перелетел через толпу. Они там три дерева сломали. А бензином полил в толпу, говорят. А теперь на

следующей станции будем чай пить; на следующей остановке. Спрошу, на каком ты основании... По сему случаю заварить надо обязательно. Да, но ты, пожалуйста, деньги ей дай, потому что... Деньги никогда не испортятся, если их есть, а если их нет, так они, действительно, попортятся. Ну что ж чай-то? Остыл уже, а я заваривать только начинаю. Нет, я вот съела этот соленый огурец, пить хочется. Где, в Харькове? Нет, ничего подобного. В восемь часов только будете в Белгороде. Семь часов хода до Харькова. Так что, простите, я вам не поверю. Паровоз уже прицепили. Значит, уже это, которая бригада у нас была, она ушла. Значит, без остановки семьдесят три версты будем ехать. Это рожь называется! По семьдесят верст каждая остановка. Сейчас двадцать минут четвертого. Ты пьешь или нет? Конечно, пью. Слушай, знаешь что, пожалуйста пер(еделай...)

10-я тысяча.

(...пер)еделай мне фамилью. Этой я не умею писать. Человек очень ученый стала, читаю, смотри! Как вам нравится южная дорога, как везет, ничего? Только коптит здорово. Угляное отопление. Ведь это же дым, а не пыль! Тебе скучнее, потому что ты лежишь отдыхаешь. А чего же делать в дороге? Я не знаю, чего больше, чего же делать? Так что ж из этого? А! Первая часть! Не желаю я с тобой разговаривать! Ах, на кого я похожа-то! А поди спроси, кто разбил, ты того спроси. Еле-еле ползет. Подумать можно, что он правда читает. Или на курение, или на обертывание. Махорочники! Ведь весь-то клоп, а бежит: газетку! Скоро плешивая буду. Я остригусь скоро. Ну, я виновата? Эх-ма! кабы денег сума — да? Ты читать будешь? А на что тебе, покурить, что ль, да? Папиросы может быть лучше? Чего ж говорит, давай скорее! Он манны небесной ждет, газету. Хватит недели на две и так! Потому что сейчас Ржава — Варшава. А надоедает все-таки ехать, кругосветное путешествие! Нужно написать записки путешественника. Ты с каждым днем худеешь. Вы к товарищу Езерскому? Он еще не начал приема. Люся, ты читала вот эту книгу? Он просил у него разрешенья. Вам пятьдесят полагается человек, все равно. Я б хотела испытать три ночи! Куда это вы ходили? И в вагонах теперь в настоящее время очень тесно. Имя отчество ваше? Садитесь, Веро(чка)!

ОБРАЗЕЦ ФОНЕТИЧЕСКОЙ ТРАНСКРИПЦИИ.

1-я тысяча.

Мóжнъ абайт и́з б эз быфшых аф ицэръф. Патóм бу́дут за́бръны д л э пръхажд эн ийъ д э сй т в ит э л нъй штóл и слу́жбы. Э л э м энт такóй нъ к|атóрънв н э л з а пълажыццъ. Вы́шшый састáф áр м ии. А кáг Брус и́лъф в Маскв э, какóйъ знач эн ийъ им эйэ т? Óн ым эйэ т прáвъ съв эш ш ат э л|-нъвъ гóлъсъ. А вы́ ф какóй ч áс т и вóйск служы́л и? Ох, йэс л и н э бу́д э т, мы́ т э б э взбу́ч ку на пáс хэ дад и́м. Мы́ на пáсху ч áйу в э дрó пагáн|ъйъ ваз м óм на стáнцыи. Э́х, марóкъ адна́, бóл шъ н ич э вó. В асóб э ннъс т и вóт ф ч áйнъй. Ч у́т л и н э на кáждъй у́л ицы ч áйнъйъ. Захóд иш ф ч а|йнуйу, кък йумър ис т ч э скуйу газ эту ч ита́йэ ш. К нáм пр ийэхъл и с эм д э с ъд г э рмáнцъф рабóч их. За́фтръ йъ бу́ду в вайэ́ннъм към ис|сър иáт э. Ужэ зъп исáлсъ нъ уч óт. А йа́ жъ дóлжын бы́т нъ уч óт э какъ вайэнъаб á-зъннъй. Ну́ тък вáс атпус т и́л и, кък съсуна́. Жын и́т э с, та|вáр иж Зóл ин, тък л эхч э бу́д э т. Снач áлъ нáс вы́з-вал и в д э кабр э. Патóм ч э с т и́ч нъйъ дэмъб ил изáцыйъ. Тáм, нъпр им эр, штъбы пълуч áт | табáк па кáртъч к э... Штó пóтп ис йу и пр илажэн ийэ м п э ч áт и удъстъв э р-áйэ ццъ. Рабóч им фу́нт хл эбъ в д эн. Ад и́н фу́нт на тр и д н á. Пъ ср|авн эн йу с сталóвым и уч р э жд эн ийъм и тáм за́фтрък и у́жынъ н эт. Тáк штъ тáм жы́т мóжнъ? Йа́ тáм н экътъръйъ вр эм ъ служы́л зъ с э мсó|т рубл эй. Ч э-тыр э ш ш óтк и, штóл и. Къгдъ ф сэ сатру́д н ик и пълу-ч áйут ш ш óтк и! А патóм тáм ры́нк и бы́л и фс э закры́ты. Ну, и как ии ръзгавó(ры там бывайут?)

СОДЕРЖАНИЕ.

Цена 1 р. 20 к.

7424

